

Комплекс спасителя – это явно не индивидуальный мотив; это распространённое по всему миру явление...

Карл Густав Юнг

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Диана

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дыхание

– Дождь идёт?

Голос звучал совсем тихо – шёпотом вырывался из слипшегося, почти неподвижного женского рта. Его обладательница, сухая и бескровная, томилась в кровати, наглухо, до подбородка закрытая одеялом. Окна в комнате тоже были закрыты, и тоже наглухо.

Тучное одеяло стелилось ровно и лишь в некоторых местах едва горбилось складками, словно согревало не живую плоть с запечатанной в ней душой, а плоский скелет, лицо которого и голова почему-то до сих пор не утратили покровов. Лицо это было горячее, с лихорадочным румянцем, блестело от жирного слоя пота, ужасно худое и совершенно белое там, где синюшный румянец не распространился – даже губы белые. Глаза женщины утратили прежний цвет, роговица распалась, смазалась, растворилась от жара. Отрешённое, неживое выражение иногда сменялось крайним беспокойством – в эти мгновения возвращался разум. В остальное же время разум блуждал где-то поблизости: обследовал просторы города, от закоулка к закоулку, от пустыря к пустырю, минуя канавы и рваные ямы, через повсеместное запустение, безхозность и заброшенность, считал волны на спокойной поверхности реки, а может быть – кто знает – устремлялся в жадное небо и дальше, дабы спросить, не пора ли наконец покинуть бессильную насовсем.

Нет, не пора – отвечали.

Комната, где покоилась мученица, была зашторенная, вся напрочь закупоренная и оттого тёмная. Воздух как будто кончился – не продохнуть. Кроме койки, обстановку дополняли низенький прикроватный столик с двумя чашами и табурет в дальнем углу – всё потрёпанное.

Запах. Был ли в комнате запах? Да, и весьма сильный, так что никакому не представлялось возможности от него отвязаться – сырости, пота, болезни, дурноты и тошноты; он был настолько назойлив, что как будто примешивался к мыслям, нарушая стройное их течение.

У самой кровати расположился тощий мужчина с длинными конечностями и обострёнными, неправильными чертами. Узловатые черты эти выдавали нервозность. Взгляд, пепельный, прожжённый, беглый и одновременно впивающийся, дырявил лицо больной.

В помещении, словно подчиняясь негласному указу, сгустилась непроницаемая тишина, нарушаемая лишь бессмысленными вопросами, и всё в комнате – завешенные окна, табурет, столик, сгорбленное одеяло – эту странную, тягостную тишину старалось соблюдать. Если какая-нибудь доска в полу вдруг нечаянно гудела, то, умолкая, тут же оттенялась, пропадала из виду, как бы пристыженная.

Нервозный мужчина редкие вопросы больной вовсе не слышал, а если и прорывалось что-либо сквозь пелену безмолвия – отвечал сухо, всё больше шёпотом, боясь потревожить некую сущность, ему самому неведомую. Ответы оттого выходили либо невпопад, либо чрезмерно грубо.

– Нет никакого дождя. Это тебе так слышится.

Женщина хотела улыбнуться, но странная онемелость не позволила.

– Жаль...

Она прикрыла бесцветные глаза, сделала тяжёлый, надрывный вдох и – тут же, без остановки – выдох, хриплый и скользкий, как бы выскальзывающий из горла.

А мужчина в комнате вслушивался в её дыхание и ощущал, как этот влажный свист заполняет сначала его голову, а потом и всё помещение целиком, желая разрушить, поглотить, насытиться, и не в силах насытиться.

– Я хочу дышать, – сказала женщина, едва ли заботясь о том, чтобы быть услышанной, едва ли понимая, что говорит теперь вслух. Сознание в очередной раз ускользнуло от неё, стремясь к вожделенному небу.

– Что?

– Дышать.

В отдалении что-то тихонько скрипнуло, дёрнулось, но никто не обратил внимания на посторонний звук. Минуты шли одна за другой, наслаиваясь друг на друга и образуя подобие вечности, и ничто не могло разрушить размеренно-удушливой атмосферы.

Вдруг несчастная пришла в себя, окинула комнату осмысленным взором и хрипло спросила:

– Утро сейчас? Или вечер?

– Утро.

– Так... кислятиной воняет.

– Хочешь, я окно открою?

Ответить женщина не смогла – она сделалась беспокойной, высвободила левую руку, тоненькую, как древесная ветка, стала слепо шарить по своему горлу, по груди, будто искала чего-то. Голова её против воли повернулась набок, окатила подушку волной слюны и пены, дважды дёрнулась и замерла, заставив шею противоестественно, на излом, согнуться.

– У тебя опять судороги. Я ещё раз схожу за врачом.

– Не нужно.

Вдох – ды... Выдох – ша...

Комната – дышащая тварь.

– Их ужасно много, этих тварей, – больная подверглась нападению шейной судороги, однако продолжила, дрожа и извиваясь, подобно змее на горящих углях. – Все они внутри, во мне. Все эти твари.

– Успокойся, хорошо?

– Нет, послушай! Я порой спрашиваю их: «Кто вы?». Знаешь, что они отвечают? Они говорят: «Единость», потом говорят: «Множество», потом: «Ты, ты сама». Понимаешь, во мне есть что-то... кто-то неведомый. Тьма.

Тьма. Последнее слово она произнесла с бешеным, с нестерпимой ненавистью, всем телом подавшись вперёд.

Замерла. Рухнула головой на подушку, залитую пеной, и навечно умолкла. Разум теплился в её глазах ещё несколько секунд, затем устремился ввысь, как ему того хотелось, или отправился в небытие.

Появился врач, человек сторбленный, престарелый, осмотрел пациентку, подтвердил ненасильственную смерть и забормотал:

– Сестру вашу сейчас унесут. А она уж не мучается – ей хорошо теперь, покойно. Вы об этом подумайте. Больше ни о чём, ни о чём думать не следует...

– Ведь её так же... как остальных?

Врач поглядел недоумённо, пролепетал что-то вроде извинений, так что мужчине пришлось уточнить:

– В печь?

– Иначе никак, Андрей Михайлович, иначе никак нельзя...

– А что же... панихида? Разве не полагается?

Врач замялся.

– Говорите смело, чего вам! Боязно, что ли?

– Вы, разумеется, можете пригласить отца Тимофея – это здешний священник. Почтенный старец, правда, знаете ли, несколько слеп да, поговаривают, безумен. Только в церкви никак невозможно.

– Почему?

– Гниют они в церкви-то. Хиреют, – доктор опасно огляделся, сделал многозначительное выражение лица, будто намекая на какую-то никем не

замеченную очевидность, и поспешил вернуться к усопшей.

Андрей Михайлович последовал за ним. Отбросил одеяло, увидел посреди обнажившейся койки жёлтую, плетёную куколку, бывшую некогда живым человеческим телом, и принялся это тело слепо, в беспамятстве, разглядывать – не видя, но и не смея отвести взгляд.

Мёртвую вынесли во двор. А он всё глядел в опустевшую койку – оторваться не мог от этой пугающей пустоты.

Мерзко. Всё расклеилось, разлилось, расхлябалось. И, в конечном счёте, развёрзлось под ногами, обнажив очевидность этого мира. И всё – расклеенное, растворённое – в этой пустой койке. И весь мир, целиком – в корке засохшей слюны на влажной, серой от пота подушке...

Очередная жертва смертоносной лихорадки, свирепствующей непонятно отчего в здешних краях. В этот день наверняка кто-нибудь ещё попадёт в печь... или уже попал, сгорел дотла и теперь приветственно кричит сестре из самого жерла: «Не бойся, ты не одна!» Но крик его не слышен, не различим в столбах чёрного, зловонного дыма. И что это за лихорадка такая? Начинается с нервных припадков, затем отбирает способность двигаться, перекраивает тело на собственный лад, невозможно сушит, поражает горло страшными язвами и, наконец, изгоняет из тела душу, устанавливая своё долгожданное господство. Не иначе, чертовщина...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Зачатие (предыстория)

1.

Лигнин

Андрей Михайлович Лигнин приходился покойной сводным братом по отцу. В детстве он даже довольно долго испытывал к сестре определённые чувства, но, разумеется, это не имело никакого продолжения.

Это был низкорослый человек с каким-то совершенно нескладно скроенным, угловатым и узловатым туловищем, длинными руками и заострёнными чертами лица. Теперь ему тридцать с небольшим лет, и при столь тщедушной комплекции он мог бы, пожалуй, выглядеть моложе своего возраста, но вдумчивый взгляд из-под отяжелевших, как бы налитых век, всегда выдавал истину.

Лигнин работал горным инженером, и когда пять лет тому назад в одной удалённой пустоши, на северо-востоке, в краю лесов и болот обнаружили месторождение угля – его пригласили для проектирования шахтных подъёмов. При этом оговаривалось выделение жилья как для него самого, так для многочисленного семейства, на тот момент состоявшего из втайне любимой сводной сестры, Анечки, двух родных сестёр, весьма капризных да неугомонных, матери (мачехи для Анны) и отца. Отец, правда, всё

время чем-то болел и потому до переезда не дожил.

Его в безумной спешке похоронили и отправились в захолустный городок, дабы не потерять полученное жильё. Городок был совершенно серый, убогий, для будущих шахтёров в нем понастроили тесных бараков, но ничего толком не обустроили.

Лигниным, впрочем, повезло больше – им достался хотя деревянный, но вполне просторный двухэтажный дом со всеми удобствами. Жилые комнаты – все, кроме той, что принадлежала самому Андрею Михайловичу – располагались на втором этаже. Первый же занимали, по порядку от прихожей, слева – кухня, кладовая, нужники, справа – несколько тесных помещений, назначение которых остаётся невыясненным, да вот ещё одна жилая комната, наиболее просторная из всех и доставшаяся единственному мужчине.

На второй этаж вела лестница, которая сильно кренилась вправо, как бы заваливаясь набок. Однако она почти не скрипела и не имела повреждений вплоть до февраля текущего года, что при здешней сырости, губительной для деревянных построек, весьма почтенный срок службы.

Кроме жилища Лигниных, поблизости было разбросано ещё несколько десятков бревенчатых построек для будущих шахтёров, а также старые избы коренных жителей.

В дальнейшем предполагалось расширить поселение, изрезать транспортной сетью и соединить таким образом с местным административным центром. Центр же представлял собою весьма развитый Город, к западу от реки. Столица хаоса, безумия, технического роста, человеческого вырождения – в общем, самый обыкновенный крупный город. Удивительно только, почему этот каменный гигант, как кровеносными сосудами перевязанный электропроводами, не поглотил те крохотные, убогие поселения, что, подобно назойливым мухам, окружали его со всех сторон.

Красив был Город и необъятен: огни его вокзалов и ночных улиц ослепляли всякого неподготовленного зрителя, толпы спящих по улицам людей поражали воображение, а окна исполинских зданий, бесподобных с точки зрения архитектурного гротеска, глядели прямо в небеса, словно им не терпелось вызвать небожителей на поединок. Поединок, раз навсегда определяющий, кто же людям нужнее – они, горделивые камни, порождения рук человеческих, или неопределённые сущности, страданием, бессилием сотворённые[1], один внешний вид которых не внушает ничего, кроме ощущения хилости и непростительной беспечности...

2.

Отец Тимофей

Селение, куда прибыл Андрей Михайлович с матерью и сёстрами и коему в скором времени предстояло сделаться шахтёрским городком, находилось на берегу реки, в некотором отдалении. Река, кажется, нередко разливалась, приносила разрушения, но такая участь грозила лишь деревням, расположенным на другой

стороне (там всего только одна деревня, в роковой близости от берега, вверх по течению). Здесь же место было возвышенное, потому вполне безопасное.

И хотя многие здания соорудили только тогда, пять лет назад – существовало поселение и раньше, нищее, убогое, задавленное традиционным укладом. Оно возникло вокруг монашеской пустоши, некогда священной да, поговаривают, наделённой исцеляющей силой. Сам монастырь, правда, уже полвека как сожгли, но церковь, к нему прикреплённая, стоит до сих пор.

Церковь была каменная, от времени серая, необыкновенно изнутри просторная; устройством нефная[2], в виде прямоугольника с устремляющимся на восток закруглённым выступом, внутри которого размещался алтарь. Вокруг всех стен громоздились арочные галереи, сверху крытые, во многих местах порушенные, истерзанные дождевой водой, эрозией камня и оттого обрисованные незатейливым узором трещинок, звёздочек, язвочек. Из сердцевины храма вырастала шатровая колокольня, увенчанная золотистым куполом – её, вероятно, пристроили позже, потому как она совершенно не вписывалась в архитектурный стиль здания. Такие же купола, только меньше в размерах, украшали все четыре угла здания, удобно примостившись на коротеньких, округлых башенках с птичьими оконцами. В стороне, у самого края церковного двора, огороженного кирпичным забором, распласталось около двадцати, может, чуть меньше, могильных плит, без крестов, без памятников – под ними почивали основатели храма, первые послушники канувшего в лету монастыря. Сквозь кирпичный забор имелось три входа: две неуместные, хлипкие калитки да массивные ворота чугунного литья.

Чужаков, предпринявших попытку наладить здесь добычу каменного угля, эта цитадель древности пугала. По вечерам, изуродованная шаловливой игрой света от заходящего солнца, и позже, ночью, расплосованная неверным, мерцающим светом луны – она напоминала невероятных размеров чудовище, а узенькие оконца, причудливо оттенённые лунными бликами, выглядели как ощерившиеся пасти, напоказ выставляющие острые, крестообразные клыки. Чужаки старались отогнать этот страх, неведомый, первобытный, но безуспешно. В конечном счёте им приходилось как можно раньше забываться сном, прислушиваясь к волнообразной тишине. Такими ночами (то есть во всякую почти ночь) им казалось, будто место действительно обладает магической силой, и сила эта стремится прогнать непрошенных гостей.

Заправлял храмом отец Тимофей, человек старый, как всё в пустоши, медлительный, флегматичный, уже тогда почти незрячий. Сама церковь с её кладбищем, широким двором да скудным имуществом принадлежала епархии, однако архиерею, данную епархию возглавлявшему, никакого не было дела ни до конкретно этого столпа православия, ни до прочих разбросанных по левому берегу одиноких да умирающих. Потому когорта благоухающих, прилизанных служителей нижнего звена отсутствовала

– службу, таким образом, нёс единственно отец Тимофей. Сознание его постепенно мутилось, темнело; силы иссякали, однако все их остатки он безвозмездно отдавал делу, которому был предан – прославлению, обереганию Бога, столь бесцеремонно потревоженного приезжими, а также, по возможности, приобщению к вере новых последователей – в лице случайных прихожан, сумасшедших проповедников, людей, сломленных горем, надломленных болезнями.

Про отца Тимофея местные говорили, будто он сумасшедший. Впрочем, над болезнью его, вызванной старостью, не смеялись, даже наоборот, воспринимали как нечто печальное, противоестественное и крайне нежелательное – одним словом, пожилого служителя скорее жалели, а поступки, совершаемые им в периоды особенного помутнения, старались не замечать либо оправдывали. Да и, кроме того, ничего чрезмерно странного, агрессивного священник не предпринимал; никаких признаков одержимости, указанных у Левия Матфея, за ним замечено не было (разве что потеря зрения, но этого едва ли достаточно) – так, расскажет иной раз о встрече с бесами или древней богиней Дианой, или Бахусом, постыдно обнажённым, но всё совершенно спокойно, не повышая тона, словно желая донести до слушателей тайный смысл подобных встреч, обратить внимание на детали, подробности [3]. Некоторые (весьма немногие) действительно пытались отыскать в откровениях Тимофея скрытое, спрятанное между слов нравоучение, однако до сих пор никто ничего не нашёл и ничего не понял – вероятно, намёк оказался неясным, а мораль слишком умело запрятанной. Большую же часть бывших и нынешних прихожан в качестве объяснения вполне устраивали домыслы о помутнении рассудка. Относились к старику с неизменным почтением, даже теперь – ведь, в конечном счёте, он совершенно не виноват в том, что многочисленные изломы жизни оставили в его мозгу повреждения. Стоит отметить, что, несмотря на все пересуды, значительная часть которых лепилась из воздуха, священника не покидали ни здравомыслие, ни накопленная за долгие годы мудрость. Что же до его видений – либо то было проявление неизбежного старческого бреда, либо дар божий.

Отец Тимофей был худощавый, высокий старец, с немного желтоватой кожей и жёлтыми же, как бы выжженными на солнце, волосами. Говорят, в молодости взгляд его обладал особой подвижностью, красотой и пронизательностью – разумеется, вся эта прелесть давно угасла. Левый глаз почти полностью затянуло белой пеленой – пелена начала образовываться лет шесть тому назад, капельками собираясь у краёв разбитой, треснутой роговицы, и ныне превратила око в бездонный молочный колодец, в котором ни вечности, ни выражения – один блеск слепоты. Правый глаз оставался до сих пор зрячим, однако к пугливому зрачку подбирались такие же бледные щупальца, распарывая серую поверхность. Иеромонах, таким образом, видел крайне плохо, почти даже совсем ничего не видел. Труднее всего становилось различать оттенки, оценивать расстояния и размеры. Выходить на улицу он мог лишь в светлое время суток, у себя же в келье (так же, как в служебной части храма) ориентировался преимуще-

ственно по памяти, не желая разбавлять царивший там полумрак электрическим светом.

Тимофей практически всю свою жизнь прожил монахом – даже от соратников держался особняком.

Был внебрачным сыном одного поддавшегося искушению настоятеля и уличной девки, и такое происхождение, вероятно, доставляло ему в былые времена немало хлопот. С рождения обитал в детском доме, под негласной опекой отца своего, а по достижении четырнадцати лет был прикреплён к здешнему монастырю, опять же по желанию отца. В монастыре его приютили, взрастили, дали должное воспитание, обучили кое-чему, однако особенной благодарности нелюдимый юнец не проявлял – от окружающих веяло скорее не заботой, но холодом, надменностью. Праведные вообще впадают иногда в подобные крайности, почитая себя выше всяких богов. Здесь юноша впервые столкнулся с одиночеством, не подозревая, что оно станет его спутником до самой смерти.

По достижении зрелого возраста воспитанника постригли в монахи, против чего тот не возражал, и определили за ним место пономаря. Обязанности его оказались до крайности скудными (разжигать, подавать кадило, носить свечу и прочее), потому вскоре он сделался также певчим церковного хора, почти лишённый музыкального слуха и голоса. Ему без труда удавалось подражать другим певчим, так что он приноровился. Карьера будущего священнослужителя ползла вверх крайне медленно и, вполне вероятно, совсем бы остановилась на должности иподиакона, если бы не постигшее обитель разорение. Сам монастырь, как уже говорилось ранее, сожгли около полувека тому назад при невыясненных обстоятельствах. Церковь, стоявшую возле монастыря, оставили – голую, обожжённую, непригодную. Приверженцы христианства все как один сгинули, отыскав безутешный приют в иных обителях.

Тимофей никуда не бежал – наконец он мог наслаждаться общением с извечным спутником своим, грустным, но в некотором роде приятным.

По прошествии двух лет принялся постепенно, шаг за шагом, не тратя лишних сил, но и не проявляя лени, восстанавливать священное место. Два или три раза приезжал прежний епископ, с благословением, после навещался его преемник, именем Теофил. Этот лицемерный человек, обладавший недюжинным интеллектом, невиданным умением плести всяческие интриги, необходимой властью – вручил Тимофею митру. Так иеромонах, некогда считавшийся вырожденком, получил сан архимандрита⁽¹⁾ и был навечно забыт.

Былое величие пустоши так не восстановлено. Прозябание, выживание вопреки всему – с момента разорения, минуя высокие награды, минуя забвение, ненавистные шахты, последующий мрак, до нынешних дней, сухих, жарких дней в начале июня. Архимандрит не жаловался, всерьёз полагая, что

1) Архимандрит – один из высших монашеских чинов в Православной Церкви, соответствует священнику, награждённому митрой, в белом духовенстве.

такие напасти приближают его к Богу. Ну так что с того – сказано, каждому по вере.

В конечном счёте, несмотря на все перипетии, отец Тимофей действительно предавался своему делу со страстью, преисполненный надежд да сыновней любви. Ибо отцом его являлся единственно Бог – настоящий пожелал остаться неназванным. И мать его, вероятно, можно считать одну лишь Богородицу, защитницу сырых, заступницу отверженных, – мать же по крови давно сгинула, пьяная, задавленная нищетой, нисколько не раскаиваясь и только жалея, что так дурно, так противно оно вышло...

Каждому по вере его. Так неужели каждому по вере его?..

Наконец мы лицом к лицу столкнулись с нынешним отцом Тимофеем – безвестным монахом, награждённым митрой, затворником и то ли безумным, то ли прозревшим старцем. Вспоминал ли священник о своём происхождении, потрясениях жизни прошедшей, тревожила ли его судьба родителей, так никогда им не увиденных?

О нет! Теперь он об этом не вспоминал.

Местные относились к священнику с должным уважением – по крайней мере, те из них, что обитали здесь испокон веков и сами теперь сделали старцами. Вновь же прибывших мало интересовали душевные порывы или проблема необратимого загнивания здешней религиозной ветви, но – залежи угля, но – сытость, но – бесконечное расширение, сметание любых преград на пути этого злополучного расширения, даже если в роли таковой окажется ветхая церковь, сооружённая в священном некогда месте за три или четыре века до их, ломателей, пришествия...

3.

Город

Ближе всего к заложенному городу располагалась деревня на противоположном берегу, на расстоянии что-то около восьми-девяти километров вверх по течению – пожалуй, самая крохотная, ничтожная из всех прочих. Ещё одна стояла как раз между предполагаемым населённым пунктом и главным Городом. И ещё две или три в северной стороне, на значительном отсюда отдалении. Большой частью то были деревни поселенцев, отправленных в ссылку либо после длительного заключения, либо за малые проступки перед обществом, которые не принято наказывать лишением свободы, да старообрядцев – если таковые ещё существуют. На враждебность местных ровно никакого внимания никто из вновь прибывших не обращал – считалось, что их собственная застройка впоследствии поглотит прочие селения с их убогим почитанием обычаев, примкнёт к Городу, и ничего прежнего, довлеющего над ними, не останется. Благодатная, среброносная промышленная зона окутает прежнее чёрным дымом, окропит грязью, извляает в пепле, вырвет, вырвет с корнем...

Первые постройки, в основном деревянные (впрочем, иногда руководство не скупилось на камень),

нахально пилились своими скучными, скученными облицовками на мрачную церковь, ограждённую крепким забором и всё же неспособную укрыться от разрушительного невежества. Именно тогда отец Тимофей в припадке ярости заколотил дубовыми досками все окна своей обители, чтобы ни одна живая душа не могла потревожить заключённого в ней Бога. В церкви сделалось темно, как в склепе (она, в сущности, всегда напоминала склеп), и прихожане исчезли... на несколько лет, до самой весны нынешнего года.

Наконец, когда городок разросся настолько, чтобы вместить в себя достаточное количество рабочих, приступили к сооружению надшахтных зданий.

Местные жители, понятное дело, стройки сторонились. В их громогласных, ядовитых восклицаниях сквозила ненависть. Говорили, что город сей, до неба вознёсшийся в собственном самомнении, когда-нибудь непременно низвергнется в ад, или вот: земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели этому новому смраду со своими глыбами и бесхитростными животными! Вероятно, под глыбами подразумевался уголь, к добыче которого только-только собирались приступить, или строительный материал, под животными – рабочие. Какой-то бродяга, не слишком запущенный, долгое время ходил по домам с вестью, будто бы в соседней деревне повстречал некоего провидца, и тот говорил: «Я уже вижу огненный столб, в котором сторит новый город. Множество таких столбов родится, и даже людей огонь не пожалеет». Бродягу, впрочем, не слишком доверчиво слушали, а если слушали, то ничего не подавали, так что вскоре он прекратил свои проповеднические мытарства и даже – более того – бесследно пропал.

4.

Шахты

На северной окраине землю продырявили тремя неглубокими *шурфами*⁽²⁾. По кромке берега вырыли водоотливные каналы, сконструировали несколько многоканатных подъёмных машин для перемещений под землёй рабочих (это уже под чутким руководством Андрея Михайловича), принялись постепенно углублять ствол первой шахты, извлекая из неё порции почвы и грязи. Поначалу всё это сбрасывали в речное русло, однако когда уровень воды поднялся до опасной отметки, стали оставлять на берегу – так за месяц-другой образовался довольно высокий терракот. После окончания работы его предписывалось разровнять, но почему-то никто не захотел тратить на исполнение данного предписания ни силы, ни время – он и до сих пор высится на берегу, слегка обветренный, усевший метра на полтора-два.

Прошло полгода или около того с момента приезда Лигниных, когда все три рытвины на разной глубине достигли наконец месторождения. Сам город вырос ненамного, а после того, как наладили поставку угля, расти перестал вовсе – все средства направлялись на техническое обеспечение шахт, дальнейшее их углубление и найм новой рабочей силы.

²⁾ шурф – вертикальная неглубокая горная выработка с поверхности земли.

При прохождении ствола второй шахты с самого начала возникли осложнения в связи с большим скоплением подземных вод, потому к ней пришлось подводить систему водооткачки. Тогда почему-то не учли, что в здешних краях, влажных, повсеместно заболоченных, чрезмерная сырость может принести немало хлопот.

Тем не менее, проблема была решена, и три года назад, после безупречной работы предприятия, обнадёженные столичные власти выделили некоторую сумму на строительство дробильно-сортировочной фабрики. И строительство тут же началось. Довольно быстро вырыли котлован, залили фундамент, сделали первый ярус, но до второго так никогда не дошли вследствие внезапно начавшихся по весне ливней.

Бороться с яростным потоком, обрушившимся на мир и в течение нескольких суток затопившим стволы всех трёх шахт, не представлялось возможным. Работа прекратилась до середины августа. К тому времени один шурф невозможно размыло, и пришлось довольствоваться двумя оставшимися путями добычи. Но те были неглубоки, приносили угля гораздо меньше, чем пришедший в негодность (его называли «основной жилой»), а на восстановление, ясное дело, средств не нашлось – вложено, мол, в бесполезную фабрику.

Проект функционировал до октября, как бы по инерции, и полностью сошёл на нет после возгорания складских помещений, причины коего не установлены до сих пор.

На тот момент в обязанности Андрея Михайловича, по странному стечению обстоятельств, входило управление всеми рабочими бригадами. Дело заключалось в том, что, кроме него, высших чинов, равно как инженерных кадров, не осталось – почуввав неладное, они исчезли один за другим. Андрей же Михайлович, никогда ранее не занимавший руководящих должностей, повышением ужасно гордился, поручения, присылаемые из столицы в письменном виде, исполнял усердно, с необыкновенным рвением, не понимая того, куда всё катится.

Среди местных между тем вспомнили о сомнительном пророчестве – огненный столб и всё такое прочее.

Обстановка накалялась. Всякий день мог завершиться расправой деревенских над праздно шатающейся группой рабочих или наоборот. Из глубин человеческого сознания на поверхность выполз страх – двери в домах стали запирались; каждая жена дождалась мужа с нетерпением, панически боялась, что он не вернётся, да грешным делом помышляла о том, как ей предстоит кормить детей и что с ними со всеми без защитника станется.

5.

Побег

Пожар на складах унёс восемь жизней. Через несколько дней опечаленному Андрею Михайловичу предстояло на общем собрании принести семьям

погибших соболезнования и как бы невзначай объявить о решении властей закрыть предприятие, лишив работы порядка шестисот человек, шахты засыпать либо затопить. Андрей Михайлович предвидел неминуемые последствия такого решения и, кроме того, понимал, что рабочие непременно воспримут его как виновника выпавших на их долю бедствий.

Потому тем же вечером, то есть в день пожара, не дожидаясь рокового момента, он сбежал. Родне, оставшейся в шахтёрском поселении, отправил письмо, где сообщал о причинах своего поступка и приглашал сестёр вместе с матерью к нему присоединиться, когда те пожелают. Письмо получила Анна, но почему-то никому больше его не показала, приглашение не передала, а исписанный бумажный клочок отправила в печку. Впрочем, адрес брата она запомнила хорошо, и потому смогла впоследствии связаться с ним, приглашая на собственные похороны.

6.

Рождение

Рабочие бесновались недолго. Около недели после объявления о закрытии предприятия и роспуске всех бригад. Воиющих случая было всего только два. Один раз пьяная троица посреди ночи вломилась в избу какого-то старца, из здешних жителей. Хозяина избили, престарелую жену не тронули; порубили топорами кухонный стол да грозились «самого так порубить, на куски» – не осмелились, ушли. В другой раз женщину убили, вдову. А впрочем, женщину-то убили много позже и совсем по иным причинам; на тот период, таким образом, один лишь случай разбоя насчитывается, и то неотягощённый.

Больше ничего, никаких беспорядков. Местные, кажется, прониклись к чужакам сочувствием, ведь им приходилось жить впроголодь, без всяческих средств к существованию. Сами чужаки большую часть времени лениво, бессмысленно слонялись по посёлку, не зная, куда приткнуться. Иные с тоской поглядывали в сторону фабричного скелета или в беспамятстве становились у края какой-нибудь из земляных ран и могли стоять так целыми часами, не желая ни шагать вперёд, в бездну, ни возвращаться домой (дома, по сути, такая же бездна).

Утихло. Улеглось. Присмирели. Многие разъехались, как изначально предполагалось, расползлись, подобно саранче, по окрестностям. Немало было тех, которые остались, из опасения потерять отвёрнутое жилище.

Последовало несколько инспекторских проверок. Затем в поселении наладили кое-какой транспорт, открыли продуктовые магазинчики, мелкие предприятия услуг. Так застройка стала дышать самостоятельно, превратившись в небольшой городок, с ветхим храмом в центре, тремя разъявленными, зияющими чернотой глотками на северной окраине и, рядом, осыпающимся холмом невероятных размеров – вся память о неминуемых истоках. Шахтные стволы вскоре обратились в колодцы, из-за дождей. Колодца эти были нечистые, для питья непригодные, но по край-

ней мере скрашивали скучный пейзаж. Сразу за ними дыбилося нагромождение каменных построек – всё, что осталось от фабрики, подсобных помещений, хранилищ, обгоревшего склада. Ещё дальше, непосредственно за развалинами, обустроили кладбище.

Примерно тогда город обзавёлся весьма мрачным прозвищем, укоренившимся не только в обиходе поселенцев из соседних деревень, но также в сознании самих горожан. Руины на заднем плане, кладбище за ними и наглухо заколоченная досками церковь в самом центре этому новому имени даже слишком подходили.

Так появилось мёртвое Городище.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Рождение (далее)

1.

Так появилось мёртвое Городище. Ещё один представитель голодной своры, обгладывающей края здешнего Капернаума⁽³⁾. Впоследствии, именно же нынешней весной и далее, оно совершенно оправдало своё безрадостное название (впрочем, и до того сажай пристало – не отмоется).

Лихорадка началась в середине марта. Однако первый случай не только не восприняли как предупреждение об ужасной катастрофе, но даже и болезнью-то, в телесном смысле, не признали – так, некая женщина, именем Диана, от долгого одиночества сделалась сумасшедшей. Она была тридцатилетняя, довольно привлекательной наружности – вдова рабочего, погибшего в самом начале работ при возгорании угля на дне шахты. Детей не имели, да и прошло с тех пор гораздо больше времени, чем полагается на соблюдение траура, но ни мужа, ни даже любовника женщина почему-то не нашла. Потому помутнение рассудка, с ней приключившееся, многие объясняли длительным воздержанием – известно, что далеко не всем оно идёт на пользу. В городке женщину прозвали «безутешной вдовой» – разумеется, за глаза, будто боясь обидеть или затронуть не слишком приятную для разговора тему. Ей самой прозвище было известно и совершенно безразлично. Она либо видела в своём одиночестве тайный смысл, либо, не в силах смириться с ним, упорно старалась не замечать.

Вечером семнадцатого числа несчастная в крайне встревоженном состоянии, прикрытая лишь тонкой, до пят, ночной рубашкой, сквозь которую явно просвечивало бледное её, плотное тело, ворвалась в запертую обитель отца Тимофея. Там некоторое время провела перед иконой Божьей Матери, читая заунывную молитву. Затем разрыдалась, словно совершила один из смертных грехов и раскаивается теперь.

Тут же, не переставая лить слёзы, вскочила на ноги, начала вальсировать, кружить по зале, опи-

3) Капернаум – древний город, где, согласно Библии, происходила основная проповедническая деятельность Иисуса Христа.

сывая затейливую дугу, потом запела песню весьма легкомысленную, любовную, слегка пошловатую:

*За рекой, на горе лес зелёный шумит,
Под горой, за рекой хуторочек стоит.
В том лесу соловей громко песни поёт.
Молодая вдова в хуторочке живёт.
В эту ночь-полуночь удалой молодец
Хотел быть, навестить молодую вдову...*

Молодую вдову обнимать, целовать...

Отец Тимофей в то самое время отдыхал в келье. Услышав пение, в церкви никоим образом неприемлемое, он вышел в среднюю часть храма и обнаружил женщину бьющейся в конвульсиях перед Царскими Вратами. Та, по его мнению, пребывала в помешательстве – сжималась всем телом, дрожала, кольцами переплетая руки и ноги, задирала вверх смятую рубашку, кричала во всю глотку: «Приди, ну приди же, возьми меня!» [4], обращаясь, то ли к невидимому, неведомому духу, её соблазнившему, то ли к священнику, растерянно над ней склонившемуся, и оскверняла себя руками.

Повернувшись набок, начала ударять себя головой по груди и спине, в области лопаток, словно шея была сломана[5]. Священник, не зная, что следует предпринять, прочёл молитву, но, разумеется, молитва не помогла. Тогда, в надежде, что хотя бы это приведёт больную в чувство, несколько раз кряду ударил её по щекам, не слишком сильно, а она в жутком воодушевлении воскликнула: «Ах, как хорошо, хорошо!» Отец Тимофей, крестясь на ходу, стремглав побежал во двор, к колодцу – холодная вода, думал он, холодная вода поможет прекратить это безумие! Вернувшись с до краев наполненным ведром, отец никого не увидел. Вероятно, за то время, что он отсутствовал (времени же прошло немало, ибо священник, хотя от волнения двигался быстро, являлся почти слепым, потому с трудом ориентировался), женщина пришла в себя, испугалась, бросилась домой. Беда в том, что до дома бедняжка так никогда и не добралась. Слухи о её пропаже на следующее же утро разлетелись по всему городу, стало известно также о ночном походе. По различным версиям, женщина утопилась, не выдержав позора, или отправилась бродяжничать – такое нередко происходит с сумасшедшими.

Не далее, чем через неделю, история повторилась, с той лишь разницей, что жертвой стала тринадцатилетняя девочка, дочь какого-то мелкого торговца. Лихорадкой первое время вообще заболели одни только женщины, у представителей сильного пола подобные симптомы проявились по прошествии месяца.

Дочь торговца всю светлую часть суток проводила во дворе, почти всегда в одиночестве и ничем особенно не занятая. Отец сколотил для неё крохотный стульчик, чтобы сидеть, и принёс игрушки, чтобы играть, и девочка сидела и играла со скучающим видом. Так существовала, к жизни безразличная, к

мальчишкам, развлечениям – к тому, чем интересовались её сверстницы, – словно лишённая души. Или, быть может, слабостей этой души – кто знает!

Однако в тот день, утром, по обыкновению восседая на простом стуле, который делался всё более узким, тесным в процессе её непрерывного роста – принялась вдруг бормотать какую-то бессмыслицу. Спросила: «Буду ли я твоей госпожой?», затем, получив, вероятно, никем не услышанный ответ, добавила со странной мечтательностью: «Ах, там звучит музыка, там танцуют, пьют вино, там вечный пир!» [6] Проговорив это, долго пребывала в неподвижности, пригвоздив отсутствующий взгляд к определённой точке на земле (точка плыла, не поддавалась; сверкала искрами и, ударяясь о стеклянную поверхность глаза, отражением падала в бесконечность), потом засмеялась громким, залившимся смехом.

Когда испуганный отец выскочил из лавки во двор, оставив без внимания очередного покупателя – девочка, терзаемая многочисленными судорогами по всему телу, билась головой, распластавшись навзничь и раскинув в стороны пляшущие руки. Смех её ещё звучал, рвался из перекошенного рта наружу – ужасный, неуместный, вроде пьяного гоготания – но сквозь него, не в силах покрыть, лезли жалкие, придушенные крики о помощи. Из глаз текли слёзы.

Отец бережно перенёс дочь в комнату (в том же доме, сразу позади лавки), вызвал врача. Врач сделал два укола, решив, что меньшее количество препарата не поможет, после чего страдальца проспала в течение нескольких часов, а, проснувшись с наступлением ночи, ничего о произошедшем с ней вспомнить не смогла. До самого рассвета просидела перед распахнутым настежь окном, наблюдая, как луна, то скрываясь за чёрными перьями облаков, то появляясь вновь из их ненасытного, вечно пустого чрева, медленно плывёт по небу, перекачивается скользко, безмолвно, завораживает. Возможно, это мягкое, мерцающее движение смутно напомнило одинокой дочери торговца о существовании неведомого мира, где будто бы вечное ликование, играет музыка, непременно вальс, но куда ей попасть почему-то невозможно. Так девочка сидела, грустно глядя в сияющую даль и мечтала о несуществующем мире, а к утру, позабыв все мечты свои и грёзы, ушла спать. С тех пор сделалась она ещё более утрюма и нелюдима.

Мечта разрушается лёгким прикосновением руки, слабым дуновением ветра разрушается всякая мечта, порождение потустороннего мира (ткань непрочная, неизведанная!), разрушается страхом, смертью и столкновением с очевидной реальностью. Дочь торговца жила посреди этой реальности, очерченной границами тесного двора, и ничего более не знала на свете. Но, вероятно, во время приступа ей привиделось нечто такое, что заставило осознать и однообразие дней, и серость обстановки, так что последующая утрюмость её вполне понятна.

Подобные случаи повторялись всё чаще. Вскоре у всех, перенесших припадки, появились куда менее

безобидные признаки болезни. У одних жертв конвульсии нарастали до тех пор, пока всё тело целиком не сводило непрерывным пружинистым сокращением – от нестерпимой боли, сопровождавшей данный процесс, несчастные впадали в кататонию, обрывая всяческие связи с внешним миром, вплоть до необходимых. Другие оставались в сознании, но теряли способность двигаться; при этом недуг первым делом поражал нижние конечности, переползая затем выше – по туловищу, по рукам, шее; наконец достигал мимических мышц, размягчая их и превращая человека в тряпичную куклу. Те, кому повезло чуточку больше, могли выражать на своём лице страдание. В отдельных случаях наступал только паралич ног или вовсе одной ноги. Затем тело невообразимо, практически до костей сохло вследствие нежелания, а подчас невозможности принимать пищу, ведь желудок всё выталкивал назад нетронутым. Кожа приобретала пергаментный оттенок, либо белела до бумажного состояния; покрывалась глубокими язвами, трескалась от малейшего прикосновения, рассыпалась на лоскутки, словно прах. Язвы поражали также слизистую рта и горла. После десяти-пятнадцати дней подобного мучения человек умирал – в большинстве случаев от удушья, поскольку дыхательные пути пережимала невероятной силы шейная судорога, реже не выдерживало сердце.

Лихорадку, по первым признакам, её обнаруживающим, прозвали нервной. Лекарств от неё, по всей видимости, не существовало – по крайней мере, известные в здешних краях препараты демонстрировали полнейшее бессилие. Причины заболевания также неизвестны.

Предполагалось, что недуг передается воздушно-капельным путём и что возбудитель попадает в дыхательные органы, распространяясь затем по всему телу. Истерики же происходят из-за кислородного голодания мозга, способствующего различным видениям, злобе, высвобождению животных порывов и т. д.

Согласно иной теории, какой-то паразит расселяется по нервной системе человека. Это объясняло как сами припадки, так их последующее нарастание, паралич, неприятие желудком пищи, удушье вследствие сжатия гортани, даже, в определенной степени, разрыв сердца как возможный итог. Однако данная гипотеза без должного внимания оставляла изменения, происходящие с кожей и слизистыми покровами – впрочем, подобные явления могли быть следствием длительного голодания.

Отец же Тимофей совершенно уверился в том, что виновниками бедствий выступают бесы, неоднократно виденные им в стенах обители. Местные жители, несмотря на то обстоятельство, что священник был на грани безумия (они же сами и распространяли слухи о его помешательстве), именно к этому объяснению склонялись. Довольно часто, идя по улице, можно было услышать из разговора двух-трех случайных прохожих робкое, произнесённое непременно шёпотом подозрение о бесовском вмешательстве.

Люди, обитающие в глубинке, вообще суеверны, как все прочие люди; вновь же прибывшие заражаются быстро и, что хуже всего, необратимо.

Болезнь унесла около восьмидесяти жизней только за апрель, хотя данные эти и неточны, ведь счёта никто толком не вёл. Кладбище невероятно разрослось, причём росло оно преимущественно вглубь города, встретив на дальнем своём рубеже непреодолимое препятствие в виде обширного слоя каменной породы. Длинные, сплетённые вереницы могил да крестов над ними поглотили два крайних, года два как заброшенных, подгнивших от сырости дома.

В мае сошёл снег, не оставив в качестве напоминания о себе ни единого сугроба, и в помещениях недостроенной фабрики соорудили огромную печь, где стали сжигать усопших.

Тогда же от лихорадки померла старшая Лигнина, мать Андрея Михайловича, и – следом – одна из родных его сестёр (другая прежде ещё отправилась в Город, вполне справедливо рассудив, что жизнь в мрачном селении несносна). Анна, почуяв неладное, известила брата, потом слегла, чтобы никогда более не вставать на ноги.

Андрей Михайлович приехал в первых числах жаркого, обезвоженного лета, и мы наконец оказались в начальной точке повествования – здесь и сейчас.

2.

Здесь и сейчас, минуя бессонную для обоих ночь, зарождается новая жизнь. Прорывается сквозь тончайшую обёртку чужой, но до сих пор неотделимой плоти, рвёт. С дыхания начинается всякая жизнь, с болезненного, принуждённого вдоха – так атмосфера насилует слабые лёгкие младенца, протыкает горло, заставляя отбивать определенный ритм, двигаться в такт тишине и звуковому хаосу, её сменяющему.

Рвёт. Ты слышишь меня? *Ты веришь мне? Веруешь в меня?*

Кто ты?

Единость.

Множество.

Ты.

И та же койка – незримо существует. Стоит только распахнуть тяжёлые веки, позволить настырному взгляду прорезать их, оглядеться, впитать окружающее – она резво вгрызётся в сердцевину глаза. Да неужели это происходит? Нет, не может это происходить, ведь всё понарошку, обман, прихоть неведомого. Что же тебя обманывает? Зрение? Оно – увлажнённый посредник, лишённый страсти и предвзятости, оно не должно лгать. Разум? Разве под силу ему такая вязь? Быть может, игра полутонов, хитросплетение вещей, событий, темноты и безмолвия, и ещё – запаха (запах кислый, сырой)?

Подойди, раздвинь занавески, как только что раздвинул слипшиеся веки, роясь в них пальцами; отвори окна настежь, хотя бы одно окно, одну только ставню, крайнюю, что меньше прочих. Сравни то,

что расположено снаружи, с внутренним, своим, неприкаянным. Сравни при честном дневном свете. Рвёт. Ты слышишь? Ты должен, потому что мы слышим...

Но койка, несмотря на твоё неверие, или именно из-за него, пуста по-прежнему, и всё ещё заключает в себе целый мир.

Андрей Михайлович, будто вросший в погружённый продолжением ног в древесную толщу, никак не отворачивается от места, где совсем недавно изнемогала его сестра. В комнате никого больше нет, кроме этого нескладного, тощего человека с поникшей головой.

Однако рано или поздно всякую паузу следует завершить – бывший проектировщик догадывается о негласном предписании относительно подобных пауз, потому наконец отводит глаза в сторону. Койка пропадает из виду, её смутное отражение ни на миг не задерживается на хрустальной поверхности.

Андрей Михайлович выходит в прихожую – ему, кажется, некуда больше пойти в целом доме. Опускается на колени, спиной упираясь в стенку, и пребывает в таком состоянии до появления священника, испытывая страх, замешательство, негодование.

А священника всё нет... и никого нет. Уставший человек погружается в сон.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Диана

Звук. Какой?

Что-то отрывисто, с точным соблюдением ритма прорывается сквозь сон, сквозь мембраны в головной мозг – возникает невольное ощущение, будто источник там, внутри, и находится, и значит, звук рождается там же, а вовсе не проникает тонкими, едва уловимыми волнами через ушную раковину, не интерпретируется посредством сложного органического аппарата.

Однако же совершенно ясно, что ничего внутри головы не может издавать рваную дробь, следовательно, источник нужно искать снаружи.

Дождь? Дождь ли это наконец начался? Его ли это стальные, размытые пальцы тарабанят по крыше или... ах, слишком близко для небесного посланника... пальцы человека, случайно сюда вошедшего? Да кто же, позвольте, мог случайно сюда забрести, в чужой дом, где, кажется, случилось нечто ужасное и до боли обыденное?

Звук. Какой? Прерывистый, несколько глухих ударов и передышка. Снова. Каждый отдельный удар, каждая деталь дробы какая-то... не сырая, нет – скорее липкая. Если прислушаться больше, до напряжения в голове, до онемения всех частей тела, до их потери – всему превратиться в слух – можно различить причмокивание, которым всякий раз завершается очередной удар. Это, вероятно, следствие отделения инструмента, порождающего мелодию, от поверхности, которую используют в качестве звукообразующей.

Так звучит плоть при соприкосновении с менее уступчивым субстратом. Пальцы. Нет – кто-то всей своей распластанной пятернёй барабанит о стол или стенку.

Шаги и – сразу – голос. Дребезжащий, слабый, но можно разобрать, сопротивляясь глубокому, как обморок, сну:

– Андрей Михайлович!

Звучит не как обращение, без интонации призыва, а скорее как упрямая констатация факта, что вот, мол, лежит Андрей Михайлович, спит на полу, подобно собаке – настолько он сломлен, что его даже как-то не особо волнует – и никак не добудиться... и всё, никакой окраски.

– Андрей Михайлович!

Что ж, это было значительно громче, и теперь совершенно ясным становится, что обладатель голоса – старик.

Лигнин нехотя открывает глаза.

– А, священник. Мне не нужен священник. К слову сказать, отец Тимофей, я вовсе вас и не ждал и, кажется, не приглашал.

– Меня извещает доктор. Поверьте, предстоящий разговор имеет смысл для нас обоих, для вас особенно, ведь вы только вчера вернулись и, вероятно, не знаете, как обстоят дела. Разговаривать в прихожей неудобно, быть может, перейдём в более подходящее место? Комнату, например...

Перешли, нехотя и как будто обречённо. Нехотя – потому что втайне испытывали друг к другу неприязнь, корнями уходящую в события пятилетней давности, обречённо – потому что заняли то самое крохотное помещение, где Андрей Михайлович провёл ночь и откуда сбежал, запечатлев в памяти смерть.

– Так вот, раз уж речь зашла о местном враче, – продолжал Тимофей, примостившись в углу на табурете. – Это он по старой дружбе, конечно. Когда-то давно, задолго до разработки шахт, он, в отличие от многих своих коллег, полагал, что к умершим следует относиться с неизменным почтением, соблюдать ритуал. Согласно их убеждениям при жизни, разумеется, а если таковые не установлены, то в соответствии с общепринятыми традициями. Теперь его рвение по этой части значительно поубавилось.

Последовала усмешка, простодушная, грустная, словно отец подумал – вон ведь, как с людьми-то бывает!

– А теперь что же, ваш доктор разочарован?

– Он... полагаю, ни во что не верит.

– Что же он мне сказал: «Сестре вашей теперь хорошо, незачем о ней беспокоиться»?

– А разве врач погрешил тем самым против истины?

– Да. Солгал. Ведь если человек не верит, то не имеет права так утешать.

– Вы всё так же прямолинейны, – вновь усмешка; она больше не сходила с лица Тимофея до самого их расставания, превратив лицо это в странную гримасу. А поскольку говорил отец порою об ужасных вещах, улыбка его напоминала скорее спазм боли.

– Врач должен облегчить страдания, к каким бы мерам ему ради этого ни пришлось прибегнуть, ко лжи или намеренной жестокости. И потом, Анечка, – при упоминании имени сестры у Лигнина возникла резь в сердце, в животе, во всём тяжёлом от беспорядочного сна теле, – перестала мучиться – а ведь это означает покой. Совершенный покой, вне зависимости от верований, ибо даже если умирает материалист – тот, кто не оставил себе права на загробную жизнь – он в любом случае больше ничего не чувствует, не страдает, следовательно, покоен. И если счастье – это отсутствие терзания, то Анна Михайловна теперь счастлива... а даже если она мертва, мертва абсолютно, в вашем то есть скептическом воображении, то, согласитесь – терзания её прекращены.

– Вы заговариваетесь, отец Тимофей! Повторюсь, священник мне не нужен. Я обойдусь, а усопших здесь, как мне известно, не отпевают.

– Отповедь будет, правда в силу обстоятельств короткая. Но я к вам пришёл по иной причине, чем смерть вашей родственницы. Утешить вас не в моей власти, ибо вы, кажется, не нуждаетесь, да и ни к чему всё это.

– Тогда зачем?

– Видите ли, вы уехали, опасаясь за свою жизнь и, смею заметить, небезосновательно опасаясь, потому как разбои после случались. И так, вы уехали, а прощ говоря, сбежали. Нет, я ни в коем случае не упрекаю, но беда в том, что после вас здесь никакого управленца не назначили. Так вы до сих пор числитесь.

– Что с того? Разве в этом... – замялся, подбирая слово, – посёлке так уж необходима власть? Покровительство?

– Не власть, не грубое помыкание нужны городу, а заступничество. Капернаум процветает, – желчно. – Капернаум всё сожрёт, по кусочкам, каждое строение, каждый камень, всякого человека, пока не насытится. А он ненасытен! Эта... тяга крупных городов к поглощению чужих богатств и преумножению своих, к бесконечному росту всегда неприятно поражала меня. Им всегда мало, их глотки настолько широки, что они изначально лишены способности подавиться. Заступитесь, Андрей Михайлович! Мы вымираем! Во внешнем мире никто ничего не знает, мы – в клетке. Масштабы происходящего здесь власти столицы умалчивают, как нечто позорное, нечто порочащее их. До нас никому нет дела! К чему травить народ, полагают правители, к чему взывать к его капризной, неусидчивой жалости, к его высокомерной помощи? Это повлечёт беспорядки, ведь и так всё и вся стремится к хаосу, к распаду, так зачем же кидать кость толпе, изголодавшейся по смуте? Нельзя проявлять подобную безответственность. Там наслаждаются неведением. Жители столицы могут позволить себе радость неведения, ибо их власти потакают им в этом. Но – скажите – разве могут они сами по себе, в отдельности от системы, от политики позволить себе это преступное неведение? Иные говорят: к чему нарушать их сытый покой! – голос священника, заигравший было на повышенных тонах, сорвался, последнее предложение

прозвучало шипло, лишившись вдруг нот негодования, смиренно. – Но вы, Андрей Михайлович, вы можете нарушить их покой.

– К чему вы клоните?

– Вам следовало бы от лица города просить о помощи. Это всё, что в ваших силах, и это совершенно необходимо. Для пресечения лихорадки нужны средства, потребовать которые вправе только вы.

– Нет.

– Нет? – разочарованно. – По...чему же?

– Я весьма долго отсутствовал, отец Тимофей. Этот город больше не мой. Да и никогда моим не был, я управлял фабрикой, фабрики больше нет; к тому же назначили меня не по способности, а волей случая...

– Если не из человеколюбия вы это сделаете, так хотя бы из чувства вины!

– Перед кем же? – в слова бывшего проектировщика просочился вызов, давно им подготавливаемый и тем более явный.

Отец Тимофей вызов принял, начал говорить, слишком, может быть, сбивчиво, однако справляясь с нервозностью:

– Послушайте. Глупо отрицать, что всё это вырождение – ваших только рук дело и что вы пожинаете теперь собственные плоды, от которых несёт тленом. Древо узнаётся по плодам[7]. Так... какое же вы древо, весь ваш род, вас, приехавших сюда несколько лет тому назад ломать, выворачивать, выкорчёвывать?! Вы суть желающие обогащаться, те, которые впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, вы погружаете в бедствие и пагубу себя, людей вокруг, всё, что вас окружает!

– А вы-то сами! – закричал Лигнин, желая прервать поток нескончаемых обвинений. – Вы-то сами что же, невиновны?

– В отличие от вас, я не наделён ни толикой власти за пределами поселения. Мне не разобрать всех тех тонких, запутанных связей, уловок, из которых вы целиком и ваш мир, ваши соратники сотканы. А насчёт невиновности... Вина лежит на всех нас, одинаковым грузом давит на плечи и вам, и, как это ни прискорбно, мне, уж поверьте. Но... началось-то всё с вас. С разрушений, с фабрики...

– Лихорадка с постройкой фабрики никоим образом не связана.

– Вы не видите очевидного, Андрей Михайлович. Задача человека – удерживать этот мир от распада на зыбкой основе духа. У *ломателей* само понятие духа отмирает сразу, как только они приступают к выполнению своей неприятной функции, испытывая им одним понятное воодушевление. А мы... просто смотрели, как мир постепенно распадается – удивлённо пялились! Смотрели так, словно перед нами, содрогаясь и призывая, бесноватая женщина без одежд. В самом деле, к чему спасать мир, который исполняет великий акт самоудовлетворения, стремясь через него достичь совершенного хаоса? Мы должны были предвидеть, угадать явные признаки гибели... должны были спасти... однако не сделали этого. В конечном счёте, мы все виновны, Андрей Михайлович, все виновны!

– Ход ваших мыслей от меня ускользает. Вы (безумны!) стары, должно быть, устали. Не лучше ли нам перенести...

– Стар, – перебил Тимофей. – Стар. Вы, впрочем, хотели сказать другое. Так вот, должен вас заверить, что не безумен. Просто мне понятна неуволимая причинно-следственная связь, в отличие от многих, и понятна именно вследствие моей старости, которой всем вдруг вздумалось меня попрекать. Вместе со старостью приходит чувство умеренности. Чувство того, что всё преходяще и в сущности скучно. И центром притяжения, к коему стремится линия жизни, становится не будущее, но прошлое. Обзор же собственного прошлого даёт преимущества в анализе; вам пока таковых постичь не дано, вы молоды и едва ли повзрослели со времени нашей последней встречи, когда случился пожар в шахте. Помните? Но только к делу это относится не в полной мере. Копаясь в своём прошлом, восстанавливая его по кусочкам, фрагментарно, я неизбежно восстановил прошлое поселения, ибо живу здесь практически всю свою жизнь, в том числе цепочку событий, произошедших незадолго до лихорадки. Так я нашёл причину.

– Какова же... причина?

– Вдова. Я сейчас расскажу, хоть и нескладно. Надеюсь, вам станет понятно. Первопричины мне, разумеется, не открылись, однако цепочку, ведущую прямо к нынешней беде, я угадал, кажется, верно. Знаете ли вы, что в этих краях есть пророческий?

Тут Лигнин рассмеялся:

– Вокруг полно сумасшедших, так что-нибудь в таком роде непременно надо предполагать!

– Ах, ну да, вы, конечно же, скептик, материалист и, что отвратительнее всего, ломатель. Но прошу вас поверить мне на слово, тем более, что сегодняшней ночью в этой самой комнате, совсем недавно, вы не были ни скептиком, потому что из последних сил верили в чудо, ни материалистом, ибо готовы были допустить даже бессмертие души в любом виде – пусть его! – ни ломателем, ведь вы стремились созидать. Ведь вы... верили в чудо прошедшей ночью?

Отец Тимофей весь подался вперёд, с любопытством и одновременно беспристрастностью исследователя вглядываясь в лицо противника, от которого требовал то помощи, то веры, то понимания; он как будто хотел удостовериться, проглотила ли жертва «наживку».

Андрей Михайлович поблёк, отступил на несколько шагов, так что упёрся спиной в стенку. Воспоминания всплыли в памяти необычайно живо, нелепо приукрашенные игрой воображения; вновь столкнули молодого человека с тем неизведанным, которое «рвёт», продемонстрировали ему всю его беспомощность против этого «рвёт» – разрушителя куда более одарённого, нежели сам Лигнин.

Через некоторое время Андрей Михайлович взял себя в руки (так, по крайней мере, выглядело внешне, для стороннего наблюдателя) и сказал:

– Я верил. Ждал. Но ведь... ничего не вышло, я

остался обманут, следовательно, эта ночь лишь укрепила мои позиции.

– Быстро же вы отказались от сестры.

– Нет, я... не отказался...

– Что ж, воля ваша, верить или нет, только выслушайте без издёвок. Я посещал этого пророка. Он показался мне весьма сомнительным. Судите сами – неопрятен, нелюдим, угрюм, попросту очень грязен. Однако слова его я запомнил: «Когда образ заплачет, тогда сделается мор и столп огненный». Уже после я всё пытался понять, почему предсказание так ярко запечатлелось в моей голове. Даже не знаю... голос у него был такой... медный и как бы перескакивающий с одного тона на другой, скрипучий и всё время ускользающий. Быть может, меня поразили не сами слова, а всего только голос, каким они были произнесены. Так или иначе, в середине марта началась лихорадка.

– Но, отец Тимофей, ведь первая жертва, дочь ремесленника, заболела позже... так мне, по крайней мере, рассказывали.

– Она вторая, мне это доподлинно известно! Поверьте, я знаю, кто была первая, – архимандрит наверняка забеспокоился и дальнейшее выпалил скороговоркой. – Мне известно, что с ней случилось, что они с ней сотворили и почему теперь молчат!

– Да объясните же толком!

– Непременно, непременно! Но ведь было ещё худшее, безумие, был хаос! Толпа стремилась к хаосу, эта буйная, необратимая в своих желаниях толпа... вожделем святыни, и именно поэтому женщина, не в силах пойти на такое изуверство, вожделем себя!

– Да ведь я ни единого слова не понимаю!

– Конечно, простите. Надо быть более обстоятельным, – священник немного помедлил. – Итак, лихорадка началась в марте, в середине месяца. По прошествии нескольких дней стали доходить слухи из соседних деревень – мол, в пригороде столицы в некоей церкви образ Спасителя плачет. Эти слёзы – слёзы кровавые – предвещали многие беды! Но они явили собой божественный акт, чудо, а что сотворили прихожане? Да они в животном стремлении, во власти любопытства и желания набивались в ту самую церковь, чтобы приобщиться... ничего хуже, отвратительнее, тошнотворнее придумать нельзя! Мужчины и женщины, призванные усмирять свою плоть, дали ей абсолютную власть! Люди сошли с ума от вида крови, как часто случается. И ведь как раз в середине марта икона-то кровоточить начала, то есть, если следовать предсказанию, за великим плачем последовал мор. Это вещь установленная, свершившаяся вне всяких сомнений.

– Тем не менее никакой связи...

– Что, не видите? – Тимофей недоверчиво покосился на собеседника, затем показал хитрый и хищный оскал, совершенно, казалось бы, ему несвойственный. – Никакой связи не видите? Впрочем, я ещё не завершил, потерпите немного.

Вместе с вами, с приезжими, в посёлке тогда появилась одна женщина. Диана, жена какого-то рабочего, ничего примечательного. Но я её запомнил,

хотя и видел до того раза три от силы. Была в её лице... в выражении этого лица некая особенность, едва уловимая черта, которая как бы тогда уже предупредила, что судьба её обладательницы трагична. Печать, понимаете! Печать. С возрастом такие вещи начинаешь видеть, ибо сам неизбежно стремишься к умиранию, так что и всё вообще умирающее становится родным, понятным. Осень, увядающие цветы, опавшие листья, умирающий человек с едва уловимой, но в то же время такой отчётливо проступающей во всех жестах и действиях печатью. Таковую печать ставит обычно болезнь... или нервное истощение... наконец, склонность к самоубийству. Да, мне это было видно очень хорошо, слишком, ведь я был опавшим листом, по-сиротски прибившимся к земле и грязи, льнувшим к ним, словно к матери; чернел и сох в непреодолимом желании отрезвляющего глотка снега – им дышит всякая смерть – ибо этот снег разрушает иллюзии, обжигает твою кожу, твои беспомысленные мозги и приносит обезоруживающее осознание того, что, в конечном счете, ты – умирающий человек, не более...

По крайней мере, Диана свою участь предвидела – не сознательно, разумеется, но где-то в глубине души или, если угодно вашему скепсису, подсознания – это замечалось по глазам, в них блистала воспалённая решимость. Возможно, именно из-за страшного предчувствия после смерти мужа она никого себе не нашла, хотя ухажёры имелись. Говорили, что она безутешна, или что помешалась от горя, или фригидна – это последнее объяснение большей частью устраивало незадачливых «женехов» и ими же распространялось. Я же уверен, что причина намеренного одиночества крылась в предчувствии...

Нет, она всё же помешалась, но не от горя. Вернее, не от того горя, о котором все судачили. Диана посетила церковь, где находилась кровоточивая икона, в самый первый день этого события. Откуда ей стало известно об этом задолго до нас, я, если честно, не понимаю, однако тем же вечером, вернувшись, она помешалась. Выходит, таким образом, день начала эпидемии совпадает с днём, когда стал кровоточить Спаситель. В сознании этой несчастной женщины возник необходимый выбор: вожделем себя, подобно миру, или Творца, подобно толпе.

Итак, она сошла с ума или, как принято теперь говорить, с ней случился приступ лихорадки.

– Но вам-то, вам-то, отец Тимофей, откуда всё это известно?

– Она пришла ко мне в ту ночь. Приступ её мне довелось наблюдать – чистое безумие! Она пришла в прозрачной ткани, вела себя подобно одержимой. Я было решил, что она и вправду одержима бесами! Одного несчастная, вероятно, видела перед собой или где-то в воздухе, потому что неистово призывала его. Я побежал за водой, к колодцу, дабы привести её в чувство, но по возвращении не обнаружил никого. Она пришла в себя и сбежала.

– Что с ней стало? Почему никто ничего не знает, ничего не говорит?

– Раньше говорили. До вашего приезда – он, как

ни странно, подействовал отрезвляюще. Говорили, будто она отправилась бродяжничать, уехала к неизвестному любовнику... говорили даже, будто утопилась со стыда. Но на самом деле всё гораздо хуже. А поскольку истина однажды просочилась сквозь завесу домысла – все разом, как по команде, умолкли. Хотя отпечаток случившегося, снятый с небольшими поправками под копирку и предоставленный для других здешних мифов, сохранился.

– Например?

Теперь иеромонах видел, что сумел пробудить в Андрее Михайловиче неподдельный интерес. Втайне он ликовал, внешне оставался спокойным, умудрённым годами рассказчиком – выражение восторга, пусть даже отчасти вполне уместного, не отвечало его конечной цели, весьма, впрочем, смутной. Отец неспешно продолжал, сознавая в то же время, что подходит к наименее приятной части всей истории. От этой мысли затылок его холодел, но Тимофей был весьма упорен в покорении собственных страхов:

– Всякий местный охотно представит вам повесть о том, как после закрытия фабрики и прекращения добычи рабочие бесчинствовали. Отчасти это так. Скажем, к примеру, что дом одного коренного жителя подвергли разрушению. Были случаи побоев. Но вам также поведают о том, как несколько пьяных рабочих изнасиловали и убили женщину. А в действительности это чудовищное злодеяние произошло много позже. Я больше скажу – практически всем в городе известны имена преступников, всего четверо. Почему молчат? До лихорадки эти четверо обладали влиянием на нашу толпу – их боялись, ибо они довольно часто и в открытую грабили дома, причём могли себе это позволить безнаказанно, потому как ни органов власти, ни правоохранителей, никого здесь нет. Когда же всё нынешнее началось, как-то о старом постарались забыть. Да и, кроме того, один из них, из злодеев-то, помер недавно, так что мне надо было отпевать его вместе с более добропорядочными людьми, другой тоже скоро помрёт, а ещё двое состоят в бригаде на общественных началах, вывозят тела – желающих, ясное дело, мало, так что забыть о преступлениях этих двоих куда как выгоднее.

– А что же... Диана?

– Кажется, я достаточно уже рассказал и слишком ясно дал понять её участь. Её нашли мёртвой в одной из водоотливных шахт, что рядом с холмом спускаются к руслу реки.

Вдруг страшная догадка поразила Лигнина, и он в приступе нетерпения воскликнул:

– Кто? Кто её нашёл?

– В том вся беда, Андрей Михайлович. Я. Мёртвую Диану нашёл я. Потому и не даёт мне эта история покоя. Несчастливая вдова, в чьём теле лихорадка пробудила подавленные желания, а отвращение к оргиям заставило их исполнить, осквернившая святое место и столь развязным образом предлагавшая себя бесу, к ней явившемуся, пошатнула мою... веру. Люди же, сотворившие с нею в ту же ночь злодейство, эту распатанную веру искалечили, порубили на куски, на

обломки святынь и принципов, а всеобщее молчание и вопиющее отсутствие справедливости... вырвали с корнем. Иногда ко мне возвращается былое воодушевление... только всё реже... реже... и даже в такие моменты сомнения отравляют меня!

– Вы говорили, она увидела беса?

– Да.

– А вы... не видели? – Андрей Михайлович спросил совершенно серьёзно, на долю секунды готовый поверить в любую небылицу.

– Нет. Зато она видела беса очень ясно. Во мне.

– Да уж не вас ли она призывала?

Священник поглядел отрешённо или испуганно – Андрей Михайлович не разобрал – и оставил вопрос без внимания.

– Но каким же образом, – продолжил, выдержав некоторую паузу, проектировщик, – ваше откровение проясняет происходящее? Разве это многоголосье небылиц и ересей, из которых, положим, половина правда, устанавливает причину, которую вы мне столь настойчиво предлагали?

– Причина проста до ужаса. Вы слепы, если ничего не поняли. Одержимость. Тьма.

Тьма. Последнее слово в душе Лигнина нашло болезненный отклик, вызвало приступ острой боли в сердце – именно это произнесла Анна Михайловна перед тем, как навсегда покинуть мир и койку, в чреве которой этот мир заключался; содрогаясь от судорог, всеми силами (а их было не так уж много) пытаясь вырваться из невидимых пут агонии, она отдала заключительную команду голосовым связкам, чтобы те бесформенный поток воздуха превратили в один жёсткий, удушливый слог. Так родилась тьма, надрывным т-образным выдохом.

– Но зачем вы так долго всё это рассказывали? – спросил проектировщик сдавленно.

– Один вопрос более всех интересует меня: что общего у света с тьмой?[8] Но какое может быть общение праведности с беззаконием? Если так, мы рождены беззаконием. Тьма, которую мы осязаем теперь, корнями своими из нас же произрастает, и потому нельзя закрыть глаза и представить, будто всё славно и как прежде, и никакой тьмы. Ведь, закрывая глаза, мы сталкиваемся с ней один на один. Вот и выходит, что все мы виновны в равной степени.

– Да что вы, в самом деле, привязались ко мне с вашими фантазиями! Чего вы от меня хотите? Я не поеду в Город просить о помощи, так и знайте!

– На самом деле мне нужно от вас совсем другое.

– Тогда что? Что ещё могло заставить вас прийти ко мне?

– Я должен был показать вам вашу причастность. Вину. Мы обязаны все вместе разделить её. Я пришёл избавиться от одержимости... и вас по возможности избавить. Что ж, вероятно, время ещё не пришло. Мы с вами продолжим эту беседу в другой раз.

– Довольно! – воскликнул Андрей Михайлович. Ему казалось, что его откровенно провели. Единственное, что заставляло держаться в рамках приличия, – уверенность в том, что всё уже сказано и никакого продолжения не последует.

– Я вас покину. Сейчас. И всё же запомните: задача человека в том состоит, чтобы удерживать мир от распада, от самоудовлетворения – на зыбкой, непрочной основе духа. Мы же с вами виновны, Андрей Михайлович. Быть может, даже более прочих участников...

Произнеся сплав загадок и прописных истин, отец Тимофей старческой походкой направился в прихожую, оттуда к входной двери, затем вышел во двор и наконец покинул владения действительного, как выяснилось, представителя власти, пусть таковое звание и числилось за Лигниным формально.

Сам представитель, после беседы заметно уставший, ни в какие административные дрызги влезать не желал и никаких особых прав и обязанностей за собой не признавал. Между прочим, совершенно зря, ибо вскоре...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Нисхождение

1.

...на него обрушился поток слёзных писем да официальных обращений, всё от местных. Первые содержали главным образом просьбы о восстановлении церковной службы, жалобы на работу общественных бригад, требования расширить либо перенести городское кладбище; попадались письма с угрозами. Официальных обращений, пропитанных едва уловимым, но въедливым смрадом госучреждения, было значительно меньше. Среди них особенно следует отметить два послания от Совета старейшин и ещё одно, пришедшее позднее остальных, вместе со столичной корреспонденцией – от тамошней власти, тоже от какого-то совета.

Первое обращение старейшин на следующий же после беседы с Тимофеем день доставил четырнадцатилетний подросток в сильно изношенной одежде и с печальным, как будто заранее постаревшим лицом. Андрей Михайлович, не желавший признавать за собой никакой особенной роли, полученный конверт не вскрывал, понимая, что требуется ответ. Ответ же с его стороны может означать лишь одно – вступление в должность.

Однако старейшины, потеряв терпение, через шесть дней отправили второе письмо, с тем же посылным, и Андрей Михайлович сдался, прочитав оба по порядку. Первое письмо гласило:

«Совет спешит выразить соболезнования по поводу смерти сестры Вашей, Анны Лигниной, жившей во вверенном нам городе на протяжении последних пяти лет. Поверьте, эта утрата наполняет сердца наши скорбью, а умы – невольной тревогой, ибо в каждой смерти мы вынуждены видеть не только личное горе, но также и безрадостные признаки постепенного разрушения всего того, о чём мы неустанно молимся и заботимся. Анна Михайловна оставила о себе добрую память, и едва ли найдётся теперь человек, который дурно бы о ней отозвался.

Для Вас эта утрата безмерно тяжела, так как

Вы состояли с покойной в родстве, пусть и не кровном; к тому же, сразу по прибытии на Вас обрушились вести о смерти матери и другой сестры, что, хотя произошло относительно давно, для Вас явилось новым неожиданным горем. В том же, что жилище Ваше в совершенном запустении, Вы, вероятно, успели убедиться сами.

Мы понимаем и разделяем всю Вашу боль и не стали бы тревожить, принимая во внимание то положение, в котором Вы оказались, однако же задачи, стоящие перед Вами по роду службы, где до сих пор состоите, безотлагательны. Поверьте, в противном случае мы дождались бы окончания траура.

Но нет, к великому сожалению, это роскошь, роскошь непозволительная при нынешних бедах, ибо, хотя сводки за последнюю неделю будоражат умы и, кажется, обещают некие послабления, болезнь по-прежнему уносит человеческие жизни, причём ежедневно, подобно кропотливой, педантичной труженице. Возможно, Вам после длительного пребывания в крупных городах, где каждую минуту умирает один человек и рождается ему на смену другой, так что в целом эти неумолимые процессы уравнивают друг друга, смерть ста тридцати жителей в течение двух с половиной месяцев не покажется ужасной или непоправимой, но для маленького городка с крошечным населением при практически полном отсутствии новорожденных это – катастрофа. Вероятно, уместно говорить о вымирании.

Дабы Вы имели более полное представление о происходящем, Совет решил ознакомить Вас с экономической ситуацией и проблемой оснащённости, в том числе оснащённости необходимыми работниками. Кроме того, множество бед связано с нигде не годным управлением, отсутствием представительства, да и погода значительно усугубляет положение без того плачевное донельзя.

Город очень мал, заселён преимущественно мелкими торговцами да бывшими рабочими, занятыми некогда на фабрике и шахтах. Наберитесь терпения, Андрей Михайлович, ибо все эти подробности, которые, возможно, покажутся лишними или чрезмерно распространёнными, Вам в качестве защитника интересов города знать необходимо.

Итак, торговцы. Большей частью имеют во владении небольшие магазины, делами занимаются самостоятельно, изредка нанимают одного-двух помощников. Товары закупают в областной столице либо на местах производства и продают местным в розницу по более высокой цене. С началом эпидемии торговля почти полностью угасла, так как, во-первых, желающих приобрести становится всё меньше, во-вторых, поездки в Город запрещены на время карантина, потому до сих пор дела ведут лишь наиболее заправские продавцы, продавая при этом припасённое втридорога.

Из бывших рабочих часть заняты незначитель-

ными работами либо штучным производством – например, плотники. Они раньше отвозили свои изделия в столицу, где вольны были самостоятельно их продавать либо поставлять в заранее установленном количестве на рынок, где торговлю вели уже посредники, специально обученные на то люди. Как Вы понимаете, теперь такого обмена вовсе не происходит.

Другая часть бывших рабочих были безработные, жившие на пособия, выделяемые из остатков фабричного фонда. Однако фабричный фонд ещё год назад опустел, так что многие из этих несчастных пошли на разбой и воровство. Ныне некоторые такие бедолаги состоят в похоронных бригадах.

Следует упомянуть о том также, что большинство приезжих после прекращения добычи угля, то есть пять лет тому назад, выкупили участки земли для ведения хозяйства. Потому до сих пор город был обеспечен продовольствием в виде сельскохозяйственных продуктов: молока, мяса, овощей. Но нынешний год явно протекает не под счастливой звездой. Вам, верно, известно, да за время пребывания здесь Вы сами могли убедиться в том, что погода стоит необыкновенно жаркая. Почва обезвожена, дождей в ближайшее время не предвидится, так что скорей всего мы лишимся урожая. Да, кроме прочего, нас ожидает невиданный голод!

Но вернёмся к торговцам и рабочим, ибо мы не до конца прояснили данный вопрос. Их деятельность вплоть до нынешней весны обеспечивала скудный, не слишком прочный денежный оборот, а кроме того, такую же непрочную связь с областной столицей. Связь эта разорвана, разорвана в одностороннем порядке, по-живодёрски и, кажется, необратимо, что повлекло стремительное оскудение собственных средств посёлка.

Таким образом, Вы видите, в сколь бедственном положении находится вверенная Вам местность, где Вы по сути являетесь единственным официальным лицом. Разумеется, произошло это скорее по недосмотру, по ошибке столичной власти, и однако же такая ошибка – единственная для нас возможность спастись. У Совета средства на борьбу с эпидемией истощены, главная же неприятность заключается в том, что Совет не наделён властью, признаваемой Администрацией Города, не является, по столичным то есть меркам, органом управления и, следовательно, не может обратиться за помощью и запросить необходимую финансовую поддержку.

Также Вам, должно быть, известно, что в городе нет больницы, а из медицинских специалистов всего только один врач имеется, в преклонном возрасте и на разъезде. Врач этот, хотя не раз оправдывал оказываемое ему Советом доверие, слишком стар и, по его же собственным словам, посещает больных «из последних сил». Кроме того, ежедневно общаясь с жертвами лихорадки, творя над ними всяческие процедуры, не может избежать тесного

с ними соприкосновения, а значит, рискует в любой момент заразиться.

О, мы бессильны что-либо изменить, уповаем на Господа и на милосердие Его, согласно обычаям, принятым в этих краях задолго до Вас, молим о благоденствии, и однако же, хотя роптать на Создателя своего и противиться Его непреклонной воле не смеем, смотреть на происходящее увядание безучастно не можем.

Как было сказано ранее, никакой реальной власти за Советом в столице не признаётся, у нас нет своего представителя. Такое положение весьма унижительно, но до сих пор не вызывало осложнений, так как старейшинам, то есть наиболее пожилым и мудрым коренным жителям посёлка, без труда удавалось налаживать внутренние процессы, решать вопросы распорядка, управления, распределения, регулировать конфликты, возникающие между соседями и прочее, пользуясь непререкаемым среди местного населения авторитетом. Но вот случилось непредвиденное, всё разом обрушилось, и никакими прежними способами ни прекратить, ни даже ослабить стихию не удается.

Потому мы вынуждены обратиться к Вам, Андрей Михайлович, ибо по воле случая полагаемся нам более не на кого. Вы наделены полномочиями, чтобы потребовать необходимые медикаменты либо средства на их приобретение, а также нескольких врачей и медицинских сестёр на время, пока свирепствует лихорадка. От Вашего обращения Городские власти отмахнуться не смогут, ибо сами предоставили Вам подобные права.

Совет предписывает Вам явиться в течение трёх дней с момента получения письма по указанному адресу [...] для обсуждения вопроса Вашего представительства, а также тех трудностей, которые в связи с этим могут возникнуть. Никаких самовольных действий Совет предпринимать не рекомендует до получения соответствующих указаний. Данная мера позволит избежать усугубления ситуации. Надеемся на понимание и непотрошение с Вашей стороны».

Второе послание было кратким и значительно менее любезным:

«Совет обязует Вас сегодня же явиться для рассмотрения возможности Вашего представительства. В случае дальнейшего игнорирования наложенных Советом обязательств мы будем вынуждены принять меры».

Далее – адрес того места, куда предписывалось явиться, число (двенадцатое июня), несколько подписей. Какими именно мерами грозились получателю, Лигнин проверять не стал; вместо этого спешно, в тот же день (то есть ровно через неделю после его разговора со священником) отправился к старейшинам.

Прежнее с ними знакомство, случившееся во время разработки одной из шахт, он помнил довольно смутно. Однако же знакомство это было, кажется, крайне неприятным, даже каким-то обидным, хотя

ни причину неприязни, ни причину обиды воспронести теперь не удавалось.

Совет старейшин возник в поселении задолго до того момента, когда его вдруг расширили и стали называть городом. Как только в здешних краях обнаружили залежи полезных ископаемых, земля была выкуплена, членам Совета вручили отступные, так что фактически они утратили всякую власть. Старейшины самовольно взялись за разрешение конфликтов и торговлю, и хотя их уже никто ни во что не ставил, сами они в силу природного упрямства да высокомерия мнили себя высшим руководством.

Состав круга практически не менялся – в него входили шесть человек преклонного возраста, бывшие послушники разрушенного монастыря. Вероятно, эти шестеро вернулись в посёлок лет через пятнадцать после разорения, постигшего обитель; отважились попробовать себя на мирском поприще.

До известного времени им вполне удавалось обеспечить порядок и наладить какую-то общественную жизнь, обмен среди местных. С появлением же рабочих и утерей прав Совет сделался бесполезен.

Андрей Михайлович был почти уверен, что ныне дела обстоят точно так же, ровно никаких мер по его принуждению Совет принять не осмелился бы; с другой стороны, отдавал себе отчет в том, что по прошествии столь длительного периода да ещё под гнетом болезни положение вещей могло измениться не в его пользу, хоть вероятность и мала. Он вполне представлял, что никчемные старцы, кичащиеся вымышленной властью, имеют влияние на общественные бригады, занимающиеся похоронными процедурами, а потому в любой момент такая бригада может в перерыве между исполнением прямых своих обязанностей вломиться в двери, его, Лигнина, повязать и доставить на суд старейшин насильно.

Итак, не дожидаясь столь неприятной развязки, Андрей Михайлович под вечер отправился сам.

Старейшины устраивали заседания в том же здании, где и жили, сплотившись по старой привычке в некое подобие монашеского братства. Здание было каменным (большая редкость в Мёртвом Городище), двухэтажным, но почему-то с ветхой деревянной крышей, которую каждый год по осени приходилось чинить и которая, несмотря на все ухищрения, каждый же год весной снова протекала. Потому, дабы избежать неудобств, приёмы, собрания, прочие мероприятия проводились на первом этаже в большой удлинённой зале. Зала эта была оборудована таким образом, чтобы в неё помещалось множество человек, кроме того, предусматривалось место для оратора и – на возвышении – трибуны, за которыми обычно восседали старцы. В целом, помещение напоминало аудиторию или – что точнее – зал суда.

Как уже говорилось ранее, всего в Совет входило шесть человек, люди с религиозным воспитанием, противящиеся всяким новшествам, категоричные да от старости склочные. Вне собраний они часто устраивали между собой перепалки, и всегда это заканчивалось тем, что кто-то один обязательно попадал в немилость, не по своей воле превращаясь в

молчальника. Остальные такого молчальника намеренно избегали, относились к нему с деланным презрением, копили силы до следующей стычки – после неё роль изгоя переходила в другие руки, прежний же был вновь принимаем в общину и мог позволить себе развязать язык. Такой игрой они жили, тешились с незапамятных времен.

Однако на период проведения очередного мероприятия старцы, словно подчиняясь одному для всех инстинкту, объединялись против внешнего мира, даже если последний не таил ни малейшей угрозы. Впрочем, в понимании самих старейшин таковая угроза имелась всегда – в первую очередь, угроза ослабления их влияния.

Собственно, именно из-за патологической боязни остаться «не у дел» члены Совета и составили обращение к Андрею Михайловичу, и никакой другой цели не имели, кроме как продемонстрировать свою осведомленность. Окончания же траура не стали дожидаться скорее не потому, что задачи являлись безотлагательными и город вымирал (о, они существовали слишком оторвано от реальной жизни, их едва ли в действительности заботили беды, свалившиеся на мёртвое Городище), а чтобы застать жертву тогда, когда она менее всего способна противостоять нападению. Разумеется, в желании Лигнина отказаться от должности они увидели лишь хитрую уловку да проявление собственной воли, весьма нежелательной, но отнюдь не искренней.

Справедливости ради стоит упомянуть, что средства из Города Совет запросить всё же пытался, ибо представители его, несмотря на беспечную оторванность, обособленность своего уклада от всеобщего, всё же приняли некогда ответственность и теперь вынуждены были предпринимать меры по преодолению таких ситуаций, как нынешняя. Увы, им отказали.

Следовало прибегнуть к помощи Лигнина, но так, чтобы инициатива исходила от Совета. По существу, от Андрея Михайловича требовались, во-первых, подпись под текстом прошения, написанным старейшинами задолго до его возвращения, во-вторых, отказ от посягательств на власть. Всё надлежало представить таким образом, будто Андрей Михайлович подписывает бумагу не по собственному волеизъявлению, подобно императору, одобрявшему указ министров, а как бы беспрекословно подчиняясь воле Совета, на права коего по «владению» посёлком не смеет претендовать.

Бывший проектировщик предстал перед собранием, догадываясь обо всех вышеперечисленных тонкостях, даже готовился подыграть нехитрой, чересчур понятной манере старцев, представлял, как станет соглашаться с их требованиями, предписаниями, подпишет, откажется, однако вышло иначе. Сумбурно и мерзко.

2.

– Почему Вы не явились раньше?

Старцы, все в одинаковых чёрных одеждах, от-

дальённо напоминавших сутаны священнослужителей, восседали на своих местах, на возвышении, и говорили грозно, с нотками явного презрения – так, словно пришедший был не более, чем очередной проситель, жалким своим образом пытающийся добиться поблажки.

Андрей Михайлович стоял напротив, зажатый ровно посередине между трибунами и пустыми зрительскими креслицами. Долго глядел на своих судей (судьями они, конечно, не являлись, да и собрание устраивалось по иному поводу, однако отвязаться от ощущения, что здесь сейчас учинят «судейство», бывшему проектировщику никак не удавалось), глядел, переводя пытливый взгляд с одного лишённого выражения лица на другое, и пришёл к заключению, что, в сущности, на вид старейшины совершенно одинаковы, и если бы не разница в росте, отличить их друг от друга стало бы практически невозможно.

Помещение, где разыгрывалась вся дальнейшая сцена, заполнялось спёртым, очень плотным воздухом, темнотой, которая как бы падала с непомерно высокого потолка, становясь у самого пола менее насыщенной, и запахом гари. Окон в зале не имелось – неизвестно, замысел ли это застройщика, или окна исчезли стараниями жильцов. Для освещения использовали несколько восковых свеч, помещённых рядом с трибунами.

Крыша дома рассыхалась, трескалась от несносной жары и потому нервно пела, как поёт всякое старое дерево, донимаемое зноем. Звук этого пения заметно отвлекал посетителя, мешал ему сосредоточиться, члены же Совета не выказывали ровно никакой реакции – вероятно, привыкли и теперь жалоб крыши не слышали вовсе.

– Почему Вы не явились раньше? – говорил почти всё время тот, что расположился третьим слева, выше и, кажется, старше остальных. Впрочем, как все они, худой да седовласый. Надо полагать, он всегда выполнял функции оратора, когда дело касалось воли либо претензий Совета.

– Вам наверняка известно... – начал Лигнин тихим громко и тут же сбился. Голос его эхом отозвался в пустом зале, сделал два-три оборота, затих.

– Так что же?

– Вам наверняка известно, – тихо, с осторожностью, – что я не желал принимать своё положение всерьёз и в дальнейшем решил отказаться от него.

– При обращении к Совету следует говорить «досточтимые» либо в третьем лице. Таковы наши предписания, ни один посетитель, кем бы он ни был, не смеет нарушать их.

– Хорошо, прошу меня извинить. Итак, Совету известно, что я хотел отказаться от должности. В тогдашнем своём настроении воспринимать любые предписания Совета, связанные с моим шатким и явно фиктивным, хотя и высоким, положением, я не мог. Так же, как не мог предполагать всей серьёзности происходящего в городе. Масштабы трагедии поражают, но мне казалось, что я-то ничем помочь не в состоянии и потому никакого отношения к адресованным мне письмам не имею.

– Мы не верим в искренность ваших прежних намерений. В особенности учитывая то, как быстро вы отказались от них.

– Не отказывался нисколько! Но, досточтимые, ваши доводы раскрыли мне глаза, показали, что я должен помочь!

– Не следует брать на себя слишком много, это неуважение и дурной тон. Вы способны помочь лишь по бумагам и сами убеждены, что такая способность досталась вам случайно. Совет принял решение этой нелепой случайностью воспользоваться во имя спасения города, однако нужно понимать, что ни вы лично, ни ваша якобы власть тут ни при чём. Совет категорически не рекомендует вам проявлять в данном вопросе своеволие, ведь вы всё-таки чужак и можете навредить, если станете властвовать, а не подчиняться, к чему склонна ваша собственная природа.

– Я подчиняюсь, – сказал Лигнин, надеясь, что издевательскую ухмылку на его лице никто из-за темноты не заметит.

– В искренность ваших нынешних намерений мы также не верим. Однако нам следует прерваться.

– Но, досточтимые, – на вкус слово было отвратительно, посетитель выговаривал его с характерной рвотной интонацией, словно стараясь как можно скорее выплюнуть и прочистить горло, – ведь я только зашёл!

– Это не имеет значения. Сегодня день поминовения преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской[9]. Мы не можем нарушать существующий уклад и должны благочестиво справлять службу, особенно выделяя праздники, дни поминовения святых и усопших, Троицы, апостолов, особенно же Спасителя нашего, благодаря коему всё ещё существуем. Мелочны в сравнении с этим разговоры и сиюминутные беды земные! Нам должно прочесть кондак преподобному Исаакию. Затем вы вернётесь.

– Но...

– Вы вернётесь, – последнее Глас Совета произнёс так, словно не потерпел бы никаких более возражений, и старейшины, распевая «Яко угодник Божий верный...», удалились в крошечный мрак позади трибун. Что скрывалось за этой завесой, Андрей Михайлович видеть не мог, да и не проявил особого к тому интереса, потому молча вышел в длинный коридор, ведущий к прихожей. Смысла демонстрации, устроенной старцами, он не понимал, даже не был уверен, что представление рассчитано именно на него. В конечном счёте, старейшины прекрасно знали, что их чрезмерная религиозность на Лигнина не могла произвести впечатления, тем более положительного. Возможно, таким образом посетителю показывали, что не намерены считаться с его интересами, однако же и это весьма натянутое объяснение оставляло много вопросов.

В прихожей света оказалось ещё меньше, чем в зале – свечи в целях экономии не горели, так что поначалу пришлось передвигаться на ощупь. Затем глаза привыкли, Андрей Михайлович разглядел

аккуратные ряды лавок слева и справа, мимо которых шёл около десяти минут назад, направляясь в помещение для собраний. На одной из лавок он и расположился и тут только обнаружил человека напротив.

Тьма полностью окутывала незнакомца, не задевая почему-то лица, так что выходило, будто лицо это совершенно неуместно висит в воздухе. Оно было болезненное, осунувшееся, с печатью лихорадки, какого-то грязно-мутного цвета, под глазами отекло. Сами же глаза, угольно-чёрные, смотрели куда-то в сторону, выражая то ли сострадание ко всему на свете, то ли обиду; в них стояли слёзы и плясали искры, и отражалось всё сущее – ровные ряды скамеек, ниже и дальше уходящие в тень сторбленного, взволнованного то ли мальчика, то ли старика, в котором Лигнин узнал собственную персону, и – позади – огромное, во всю почти стену, зеркало, а в нём – всё то же самое, только задом наперёд, бесконечной чередой фантазмагорий. А поскольку глаза были чёрные, то, сливаясь с окружающим мраком, напоминали скорее два зияющих отверстия; потому казалось, будто это не незнакомец выражает в своём отёчном лице непонятные обиду и сострадание, а тьма, кругом распластавшаяся.

Одинокого посетителя можно было принять за призрак или видение – одним словом, нечто. Нечто, вырванное из мира снов, мира иррационального и по ошибке либо с определенной целью сюда попавшее, для верности обретая человеческий облик.

Вдруг незнакомец осклабился, обнажив гнилые зубы, подался вперёд, и Лигнин отчетливо увидел, что в глазах у соседа пляшут не искры, как выглядело вначале, а крошечные кукольные фигурки, мерцающие, странно притягательные в своём сумасбродном, развязном танце.

О, думать Андрей Михайлович тогда не мог – позже он рассудил, что с ним случилось некое помутнение, обморок, быть может, от духоты или напряжения, но тогда кроме холода в спине и на внутренней поверхности бёдер и животного оцепенения ничего не было – ни способности рассуждать, ни осознанного страха, ничего. Лигнин отвернулся. За ним действительно громоздилось зеркало, вот только никакого незнакомца в том зеркале не наблюдалось.

Глас Совета, издаലെка:

– Мы закончили. Вам дозволено вернуться.

3.

– Я встретил просителя, но он, кажется, ушёл, не дождавшись своей очереди. В глазах огоньки... Он, случайно, не прошмыгнул вперёд меня?

– Вы забываетесь, Андрей Михайлович. Вы слишком взволнованны, так что меня мучает вопрос, не привиделись ли вам и вправду какие-то огоньки? – старец позволил себе усмешку. – Да уж не оказался ли здешний воздух настолько для вас вредным, что вы умудрились подхватить ту самую лихорадку? Впрочем, опять ваши уловки, хитрости, ибо чего ещё ждать от человека неискреннего?

– Но ведь проситель мог быть там, – настаивал Лигнин, словно и не слышал предупреждения.

– Приступим наконец к делу, ради которого собрались, если вы не возражаете.

– Нет, что вы, я... напротив...

Между тем Андрей Михайлович, сам сбитый с толку и весьма напуганный, обнаружил едва уловимую перемену в поведении старцев. Всё вроде бы то же самое – надменность, уверенность в тоне, в жестах, нарочитая медлительность для придания себе более величественного вида, но только на первый взгляд. При более же пристальном рассмотрении становилось ясным, что эта медлительность вызвана совершенной растерянностью, как будто только что открылась новая проблема, на текущем заседании не затрагиваемая, и именно в области обнаружившей себя проблемы никто не знает, что предпринять, так что она подобна наточенному топору, поднятому над головами старейшин и замершему в ожидании их агонии. Под наигранной надменностью скрывалась (надо признать, весьма плохо) злоба на собственное бессилие, на растрчиваемое подобными собраниями время, а уверенные маски были явлены миру с целью скрыть чувство совершенно противоположное – неуверенности, осознания шаткости создавшегося положения, некоей незримой пропасти, разверзшейся вдруг под ногами. Появилась ли такая двойственность только теперь или неприятное происшествие в коридоре раскрыло глаза наблюдателю – остаётся загадкой.

Оратор всё что-то говорил, говорил, наворачивал фразы одну на другую, сбивчиво и роясь в бумагах. Андрей Михайлович не вникал в смысл речи до тех пор, пока случайно брошенное слово не вывело наконец его из оцепенения.

– Что, простите? – переспросил он, очнувшись.

– Экзорцист. Совет намерен пригласить экзорциста. Немошь, возбудимость, крики и срывание с себя одежды явно указывают на одержимость. Не в наших силах бороться с нею.

– О, вы серьёзно так полагаете? – с саркастической интонацией.

Докладчик поглядел на Лигнина вопросительно, на лицах всех прочих участников разом выразилось негодование, словно это было единственное для всех лицо, разрезанное по случаю собрания на шесть частей, так что пришлось пояснить:

– Дело в том, что перечисленные симптомы имеют вполне достоверное медицинское обоснование, органические причины. В таком случае одержимость и вообще ссылки на источники, вызывающие у всякого разумного человека подозрения, едва ли имеют смысл. Это мракобесие, не более того. К тому же, как мне казалось, устаревшее и в наш век неприменимое.

– Всякому разумному человеку, – оратор зацепился за эти слова, повторил их с нажимом, подчёркнуто медленно и соблюдая излишнюю правильность в артикуляции, – известно, что тут творится. Не скрылось бы от разумного человека и то, как ловко вы пользуетесь подменой понятий. Эпоха средневе-

ковья отличалась от всех прочих времён искренней верой человека, его близостью к богу, противоборством дьяволу. Человек был слаб, не защищён, более того, прекрасно знал о своей слабости, а потому искал защиты единственно у бога! Всё дальнейшее, что произошло в масштабах исторического процесса – всяческие изобретения, философские концепции, медицина, огнестрельное оружие (есть и пострашнее, вам известно), свободомыслие, свобода совокупления, наркотики, то есть всё то, что создавало для человека иллюзию защищённости и счастья, влекло его по пути самообмана – суть попытки оправдания деятельности дьявола в этом мире, суть поклонение ему, его плоды! Мы не желаем быть причастны к такому беззаконию. Ибо что есть нынешняя лихорадка, как не божественное доказательство беспомощности, ненужности медицины с её сомнительными доводами и препаратами?

Вопрос прозвучал так, словно никакого иного ответа, кроме положительного, дать на него невозможно, опираясь даже на один здравый смысл, и Лигнин, теперь только ощутивший, насколько велика его усталость, спорить отказался. Собрание изматывало его. Пустословие изматывает.

– В любом случае, – не унимался докладчик, – Совет полагает, что помощь изгоняющего бесов будет куда как полезней, нежели приём лекарственных средств, для организма исключительно вредных, а также садистских мер профилактики с использованием огня и прочего. Да и стороннего мнения никто не спрашивал. Чтобы не затягивать, перейдём к главному. Прошение от вашего имени уже составлено, необходимо только подписать. Любое редактирование с вашей стороны, равно как и замечания и советы, не одобряется, однако для соблюдения формального ритуала вынужден спросить: желаете ознакомиться с текстом?

– Да, – сказал Лигнин, победоносно ухмыльнувшись. – Разумеется.

Затем подошёл к трибунам. Потребовалось четыре шага. Раз. Два. Три. Свет от свечей на протяжении всего диалога сосредотачивался на груди Андрея Михайловича, теперь же пятно это разрослось, смутно озарив плечи, руки, лицо посетителя и придав коже желтоватый и как бы восковой оттенок. Четыре.

Один из старейшин протянул два листа бумаги, написанных мелким убористым почерком, выдававшим скупость. Передавая готовое прошение, старец заглянул бывшему проектировщику в глаза в надежде, что тот потупится, примет прежний податливый облик, однако увидел в этих глазах гнев да ещё смелую, непозволительную решимость. Старцу не понравилось подобное выражение, он сжался, рука с прошением дёрнулась, подалась назад, однако уже пустой.

Читать Лигнин ничего не стал. Манера членов Совета держаться, их откровенная глупость, высокомерие вкупе с непомерным желанием властвовать, само помещение, предназначенное для мероприятия, даже этот жалкий почерк, безмерно раздражали. К тому же, Андрей Михайлович окончательно удостоверился, что Совет, несмотря на всю свою

внешнюю величественность, в здешнем мире ничего не стоит, нападки же на самого Андрея Михайловича – не что иное, как последняя попытка старейшин вернуть себе хотя бы толику прежней власти. Что приятно, попытка тщетная.

Обдумав всё сказанное выше, Лигнин ухмыльнулся и разорвал оба вручённых ему листа. Получившиеся клочки разбросал по полу прямо под собой, дождался, пока последний клочок коснётся поверхности, развернулся и вышел, оставив седовласых любителей ухватить бразды правления в совершенном замешательстве.

4.

Когда Андрей Михайлович, с лёгким сердцем, совершенно позабывший происшествие в коридоре и как будто позабывший даже старейшин с их неудовлетворённым желанием подчинять, оказался на улице, в небе уже была луна, кроваво-жёлтым пятном, полная и сплошь в мерцающих разводах, воспалённая, размытая, огромная. К вечеру сделалось прохладно (по крайней мере по сравнению с липкой дневной жарой, когда не продохнуть), дышалось легко, легко шагалось. Андрей Михайлович спустился с крыльца, отправился в сторону дома.

Впрочем, туда ему не так уж хотелось. Часы, проводимые им в опустевшей, захламлённой комнате, запертым в четырёх стенах, навевали грустные размышления, вплоть до того ужасного, которое предвещало обречённость, скорейшее завершение и разлад всего. Разлада Лигнин всегда панически боялся, избегал, однако же вот, по всей видимости, предмет его страхов воплотился и – удивительно – ничего не произошло, ровным счетом ничего из этого не следовало. Лишь доказательство, что человек способен жить без матери, без сестры, вообще без женщины, в страшном одиночестве, в атмосфере отчуждения от всего прежнего, близкого, казалось бы, столь необходимого, но вдруг разом потерянного, причём без особого вреда. Доказательство того, что существуют люди, изначально не способные на бурные чувственные реакции, ко всему на свете могущие приспособиться: к соседству с пустотой, к пустоте внутри, к темноте, отсутствию завтра, страшной однообразности и ненаполненности дней. Того, что иные переживают гибель своей любви, не потеряв ни единой частицы себя. Доказательство печальное и, в общем, совершенно бесполезное, а в то же время нагло очевидное, фундаментальное, конечное.

«Всё? Это всё?» – спрашивал Лигнин сам себя, даже не понимая толком, что под этим пресловутым «всем» подразумевается. Вероятно, так проявлялось чувство утраты, но даже к нему Андрей Михайлович относился бесстрастно, наблюдал как бы со стороны, а потому не вполне представлял, что оно означает. Следствие растерянности, безразличия, которые исчезали во время всякого диалога, чтобы после вновь прийти, с новой силой впиться в горло и не отпускать, не отпускать! В целом, бывший проектировщик просто не знал, чем же занять себя.

Домой решил пока не идти. Он занимал комнату, некогда принадлежавшую покойной сестре (прежнюю свою, кстати), периодически порываясь освободить иное помещение и наладить сообщение со вторым этажом, да всякий раз откладывал. К чему? Нет, домой он не пошёл. Вместо этого свернул в широкий переулок, где некогда располагались торговые ряды. Лихорадка согнала торговцев с насиженных мест, к тому же теперь вечер, потому переулок пустовал. Замощён не был, голую, утоптанную землю покрывал бесконечный ряд деревянных настилов, уложенных один за другим наподобие дороги, так что каждый шаг порождал громкий, неприятный стук, эхом отбивающийся от построек по обе стороны. К слову сказать, многие улицы в городе с самого основания не имели ни каменного, ни асфальтового покрытия, потому их каждый год в начале весны покрывали деревянными досками. К осени от давления ног и в особенности колёс доски совершенно разламывались, так что на будущий год их вновь приходилось менять – но, по крайней мере, такой способ обходился дёшево, так что не жаловались.

Эхо было неприятным, подчёркивало заброшенность, мертвенность места, однако именно благодаря ему Лигнин обнаружил преследователя и обернулся.

За ним семенил местный врач – тот, что констатировал смерть Анны Михайловны и до этого не раз навещал, стараясь помочь, избавить или хотя бы облегчить мучение. Лигнин остановился, давая пожилому человеку возможность догнать его.

– Андрей Михайлович! Как славно, что вы подождали! Я опасался, что от натуги меня хватит удар! Думал уже, не нагнать мне вас.

Поравнявшись, врач некоторое время стоял молча, дабы успокоиться и унять таким образом одышку.

– Вы что-то хотите от меня? – не желая повторения истории, подобной той, что произошла со старейшинами, Лигнин проявил нетерпение, своим вопросом так и не позволив доктору выровнять своё дыхание.

– О, безусловно! – ответил тот. – Стал бы я иначе гоняться за вами! Надеюсь только, что не слишком отвлеку вас.

– Нет, – сказал Андрей Михайлович и задумался. Обратился к воспоминаниям, желая удостовериться, действительно ли сомнительного рода беседа не слишком его отвлечёт или всё же существует необходимость спешить домой. Воссоздал в памяти помещение, приспособленное им для ночлега (Боже мой, да ведь мне приходится спать на той самой койке!), тёмное, лишённое электрического света (проводка перегорела задолго до приезда чужака, починить же её было явно некому, да и чего ждать в решении подобных проблем от двух женщин), с грязными занавесками и стенами, в которые словно влипаешь. Спешить... туда?! Лигнин вспомнил, как собственные его мысли ещё в первую ночь обретали голос, обретали неприятное звучание и сводили с ума – рвёт. Вернее, тогда рвало, рвало на мелкие части какой-то кусок жизни. И всё – стены, низень-

кий столик, табурет в углу – кричало в немом возделении: ты слышишь меня? Веруешь в меня? Да разве можно в это верить? Безумие! Откровенное безумие. – Нет, доктор. Я вообще рад с кем-нибудь поговорить.

– Понимаю. Ваша сестра...

– Вы ведь не за тем за мной гнались. Не для того, чтобы поговорить о сестре. Давайте же не будем.

– Да, всё это, конечно, тяжело для вас. Просто она была приятным человеком, и мне её жаль. И маму вашу тоже. Впрочем, как хотите, не будем! Вы, кажется, только что от старейшин. Ведь вы от старейшин?

– Да.

– О, я случайно прервал ваше собрание. В здании имеется задняя дверь, ведущая из зала напрямик на улицу. По взаимному уговору, мне и отцу Тимофею всегда следует проходить в эту дверь. В случае необходимости, разумеется.

– Не тогда ли вы пришли, когда мне упорно пытались доказать, что отправляются помолиться об одном из своих преподобных?

– Именно, и простите меня! Я не мог предположить, что они так с вами поступят.

– Однако это весьма в духе старейшин.

– Вы тоже заметили? Весьма высокомерные люди, из прежних монахов. Им следовало бы поумерить свой пыл и, по большому счёту, они не то что бы лишились власти из-за вас, как им в силу природного тщеславия хотелось бы думать, но даже никогда не обладали ей. По крайней мере, в том объёме и тех масштабах, какие можно предполагать, основываясь на их манере вести разговор. Они ведь, в сущности, вернулись в разорённую обитель с целью восстанавливать её, но обнаружили, что, во-первых, эту скромную миссию уже выполняет отец Тимофей и прекрасно справляется без помощников, во-вторых, за время их отсутствия тут образовалась крохотная деревенька из пришлых поселенцев да осевших бродяг. Они остались, увидев в этом последнем обстоятельстве некую для себя возможность, но – знаете ведь – бродяги, даже остепенившись, власти над собой не терпят. А потом приехали ваши соратники, началась разработка угля, старейшины и свалили на приезжих всю вину, в то время как причину провала следовало усмотреть в собственной несостоятельности. По сути, совет – нежелательный нарост на коже здешнего уклада. Так мне кажется.

– Но вы приходили к ним!

– Приходил. Я надеялся получить от них помощь. Моя надежда оказалась напрасной, особенно теперь, после того как старейшины дурно с вами обошлись, попытались подчинить, унижить, что, вне всяких сомнений, не могло не вызвать вашей ненависти. Вполне понятно, вы порвали составленное ими прошение и, вероятно, их приём напрочь отбил у вас желание... ну скажем, написать его повторно.

– Ах, вот вы о чём!

– Постойте, не горячитесь! Я предвидел ваше недовольство, однако прошу выслушать меня. О, не спешите, прошу вас, помедленней!

Лигнин, услышав завуалированную просьбу, и вправду двинулся быстрее, однако тут же перешёл на прежний, более медленный шаг, так что они с врачом вновь шли наравне. Меж тем проулок заканчивался, за ним открывался пустырь, уводящий прочь из города.

– Этим старикам, – продолжал доктор, – закосневшим в вере, потерявшей свой предмет, и напыщенной церемониальности, повсюду мерещится вмешательство нечистой силы! Разделяю ваше раздражение, но ведь, согласитесь, оно несколько не умаляет проблемы. Я ведь почему приходил сегодня к ним, почему задержался, чтобы узнать развязку, пребывая всё то время, что вы скучали, во мраке за трибунами, никем не замеченный, лишённый права голоса – мне необходимо было сообщить о том, что заболел ребёнок, девочка пяти лет. Поймите, ведь она совсем ещё маленькая для такой боли! А на родителей смотреть спокойно невозможно! Такая подавленность... У ребёнка жар и все прочие признаки болезни. Я хочу спасти её.

– Я вам не мешаю, – безучастно.

– Но можете помочь! Давайте, давайте спасём её вместе! Я не могу исцелить бедняжку наложением рук, а кроме этого, предложить мне нечего. Медицименты, даже самые необходимые, на исходе, о тех же, которые нужны в данном случае, я уж не говорю! У больных пролежни, практически у всех, вероятно, такова симптоматика, а у меня для избавления от них только камфорный спирт! Это же смешно!

– Я могу написать. Могу отправить. Но ведь бумага должна подробно обосновывать просьбу. Что же я напишу, если ничего не знаю? Просветите хоть вы меня, доктор! Иначе придётся поверить в бесовщину.

– Я и сам порою испытываю соблазн поверить в неё, – печально признался врач. – Что именно вас интересует?

– Лихорадка. Откуда она взялась, каковы её причины, почему все вокруг умирают, заразна ли, поддаётся ли лечению? Это следует изложить в прошении, вы же понимаете!

– Да, конечно.

Они добрались до конца торгового переулка, минутку помешкали, решая, продолжать ли путь, затем повернули обратно.

– Это сепсис, Андрей Михайлович.

– Я, признаться, не силён в терминологии, но, кажется, вы имеете ввиду заражение крови?

– Да, хотя это и не совсем верно. У всех больных такое заражение не попадает в кровь через открытую ранку, как вы привыкли думать – нет, в теперешних обстоятельствах есть первоначальный возбудитель, возможно в лёгких, который посредством крови расселяется в прочих органах и вызывает необратимый процесс умирания. Все признаки налицо: бледность, спутанность сознания, у многих отёки, пролежни, разложение тканей. Беда в том, что определить первичную инфекцию никак не удаётся. Судороги, видения, прочие случаи помутнения разума, которые мне довелось наблюдать, вполне могут

быть вызваны абсцессом мозга. Я сначала подозревал арахноидит, всё же большая часть заболевших – женщины⁴⁾. Однако сепсис его не вызывает, а вот попадание гноя в голову – вполне. Да вам это ни о чём не говорит, мне следовало бы изъясняться по-другому! Состояние больных легко объяснимо, но только до определённой черты. К неподвижности ведёт полное или частичное воспаление позвоночника, вернее, нервов, которые в нём расположены – такое тоже возможно и даже довольно часто случается на практике. У вас сложилось представление?

– В целом, да.

– Замечательно. Остаётся нерешённым вопрос о первичной инфекции, но тут я, признаться, бессилен. В самом начале эпидемии я, холодея от ужаса, однажды подумал: а если чума? Но вскоре столь необоснованное подозрение пришлось отбросить. Смертность для чумы слишком мала – возможно, так говорить бесчеловечно, однако так на самом деле всё и обстоит. Да и, кроме того, ни бубонов, ни воспаления или хотя бы размягчения лимфоузлов, ничего такого я не наблюдал ни в одном случае. А без характерных признаков говорить о чуме бессмысленно! Ведь если не обнаружены симптомы бубонной чумы, то значит, нечего даже и думать о вторичной, выраженной в остром сепсисе. К тому же, неизбежно у того или иного заболевшего была бы лёгочная форма, а такого тоже не наблюдалось. Таким образом, всё, что на текущий момент известно, я поведал. Если вы хоть что-то запомнили, то пожалуйста, можете перечислить в вашем письме, я готов подписаться под каждым словом.

– Я даже начал многое понимать и обязательно приведу подробные разъяснения, ссылаясь на вас, – Лигнин улыбнулся, почему-то заискивающе. – Можно ли задать вам ещё один вопрос?

Доктор кивнул, хотя длительная речь и утомила его.

– Когда началась эпидемия?

– Что ж, это довольно сложный вопрос. Однозначного ответа я вам дать, к сожалению, не смогу, и причина тут вовсе не в моей прихоти. Но, поскольку вы спрашиваете, осмелюсь предположить: отец Тимофей рассказал вам о Диане?

– Да.

– Не могу быть уверенным в том, что приступ, с ней приключившийся, можно считать первым случаем болезни, как не могу утверждать и обратное. У неё была эпилепсия, весьма запущенная и потому тяжело протекавшая. Подобный припадок вполне мог явиться следствием именно эпилепсии, ибо женщина после смерти мужа наотрез отказалась принимать лекарства, ко мне тоже больше не обращалась. Надо полагать, ей делалось всё хуже и хуже.

4) Абсцесс головного мозга — очаговое скопление гноя в веществе головного мозга. Арахноидит — воспаление паутинной оболочки мозга, в результате чего слипаются пространство для оттока ликвора (спинномозговой жидкости), ликвор скапливается в черепной коробке, оказывая давление на головной мозг. От арахноидита чаще страдают женщины.

С другой стороны, наличие у неё судорожных припадков не исключает вероятности того, что последний из них – следствие иного заболевания, именно же того, которое здесь принято называть нервной лихорадкой.

Я предупреждал вас, однозначного ответа нет, а потому решайте сами, какое время считать началом заражения. Можете вовсе обойти этот вопрос в письме. Ну что же, до свидания, надеюсь, я сумел просветить вас, – хрипло смеётся, но недолго; сразу после вспышки смеха лицо его как бы опускается, морщины наплывают на глаза, ширятся, видно, что он ужасно устал. – Надеюсь также на вашу помощь. В конечном счёте, в ней не столько нуждаюсь я, сколько множество страждущих, в особенности же маленькая девочка, которая испытывает ужасную боль и даже не понимает, что с ней творится. Её непременно надо спасти. Так до свидания!

В ту же ночь прошение, и весьма обстоятельное, с аккуратным изложением всех значимых фактов, было написано. С утренней почтой, которая, хотя скверно, но до сих пор функционировала, оно отправилось в Город.

5.

Между тем поселение жило своей обыденной жизнью, как будто отдельно от административных мелочей, дразг, от Совета и его нежелательных притязаний, от поддёргивания воздуха. Так происходит повсеместно. Так всегда происходило: властители воображают, будто вверенная им область дышит одними их стараниями, питаюсь от механизма финансовых связей и привлечённых средств, прочно зиждется на отработанной схеме правления, предохраняющей всё и вся от хаоса. Наивные, они даже не удосужились спросить: вверенная... кем? Человек пытается подчинить себе кусок земли, но более мудрые давно поняли, что единственное, что можно с этим куском творить – жить на нём, ни на что особенно не претендуя.

В конечном счёте, известно, что сей безумный хаос, будучи явлением непреодолимым и неосмысленным, приходит и уходит совершенно самостоятельно и может любую систему обратить в руины, в своё горькое, трогательное, тошнотворное, пыльное детище, вне зависимости от степени её централизованности.

И поселение жило отдельно от управленцев, обходясь без их докучливого вмешательства, по инерции съедаемое несовременным укладом (о, не стоило так много брать на себя!), не столицей и вообще ничем, но по природе своей стремящееся к тому же, к чему всякое живое и неживое в этом мире – к энтропии – а потому разваливающееся. Оно, как любая система, жило и гнило одновременно.

Так же, как селение разрушалось против воли старейшин, вопреки желаниям доктора умирали люди. Маленькая девочка, заболевшая накануне, несмотря на надежду доктора избавить её от неуте-

шительной смерти в столь юном возрасте, умерла на следующий же день. Умела не спасённой. То обстоятельство, что интенсивность заболевания пошла, кажется, на убыль – по крайней мере, сводки уменьшились – значения смерти ребёнка никоим образом не умаляло, не компенсировало боль.

Дело в том, что в городе вообще-то было немного детей. Преимущественно они собирались в стайки, словно их стягивала воедино некая сила, подобная той, что стягивает атомы в молекулы, молекулы – в физическое тело и т. д., и всё это бесконечно. Вели образ жизни бродяжнический, беспризорный, нечистоплотный и полный всяческих приключений. Приключения, впрочем, доставались им весьма скудные, вроде мёртвой птахи, так что неизменно скучающее выражение успело запечатлеться на всех в округе детских лицах. В определённой мере дети, страдающие ангедонией и малокровием, толком не способные разобраться ни в своих эмоциях, ни в подростковой перекройке собственного тела, отупевшие от безделья – в какой-то мере они являлись неотъемлемой частью того безмятежного процесса, о коем мы говорили «поселение жило своей жизнью». Дети – всегда дети, именно благодаря этому факту жители не срывались в пропасть отчаяния.

Однако случай с пятилетней девочкой, в отличие от всех прочих смертей, поверг город в особенное уныние, ибо впервые умер ребёнок, не достигший периода созревания. Подобное действует отрезвляюще, если найден виновник, либо, как в данном случае, то есть когда виновника не существует в принципе и потому предпринимать нечего, крайне удручающе.

То была всеобщая трагедия, сравнимая разве что с самыми первыми известиями об эпидемии. Прежние исходы, до смерти дитя, вызывали скорее нечто вроде озлобленного созерцания, и даже, осмелюсь сказать, любования, но совершенно особого свойства. Такое любование появляется в душах обречённых, если они никак не способны повлиять на развитие ситуации и могут только наблюдать да надеяться, что именно их общее бедствие не затронет. Надежда, впрочем, также пропадает весьма быстро, так что даже к собственной участи человек испытывает безразличие, смешанное с холодным любопытством – «что же дальше?» тогда вполне уживается с «будь что будет».

Человек чувствует своё тело, будучи помещённым в атмосферу гибельности, он слушает своё сердце, безучастно, беспристрастно, не помогая и не создавая помех, как бы поставленный перед фактом, что организм прекрасно справляется без его, обладателя, горячего участия и так же, вопреки смутным надеждам на бессмертие, без этого участия однажды прекратит функционировать. Человек превращается в созерцателя.

Вывести его из такого состояния может лишь нечто ещё более ужасное, чем те условия, в коих он заперт – в данном случае этим «нечто» стало крайне быстротечное увядание ребёнка и неоправданная смерть в итоге. Но вместе с тем следует признать и

печальный факт – внешне ничего не изменилось. Ровным счётом ничего. Тотальное отсутствие прохожих, гуляющих, нудные разъезды похоронных бригад, большую часть времени ничем не обременённых, потому что всё же не чума и смертность не такая уж большая, и ощущается лишь из-за крохотности поселения. Атмосфера понурости, безвоздушная, болезненная и в определенном смысле истерическая, полная чужих видений, домыслов, способная в любой момент времени воплотить тех бесов, о которых шептались укладкой местные.

Ничего не изменилось.

Даже погода.

Та же жара, то же отсутствие влаги, палящее солнце, вызванное им неуклюжее обилие света. Свету никто давно не рад, он только и способен, что жечь да беречь старые раны, да вот ещё беспокоить умерших.

Поля стояли сожжённые, скот сходил с ума от зноя и голода, земля трескалась, покрывалась пузырями, словно кожица на тухлом мясе. Всё кругом жаждало прохлады, жаждало дождя, избавления и, возможно, прощения.

6.

Вскоре пришёл ответ из столицы, поражающий безжалостной краткостью: «Средств нет».

Город обречён.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Нигредо⁽⁵⁾

В течение последующей недели жара стояла такая, что ни дышалось, ни думалось, ни жилось. Совершенно особенная жара, безвоздушная и вязкая, когда кажется, будто весь мир замер, течение времени остановилось и после лихорадочной ночи, не приносящей покоя, повторяется то же самое сегодня. Оно каждый день.

Вода в реке успела опуститься на полметра, а глядя на посеревшие поля, становилось понятно, что никакой дождь их не спасёт. Ожидался голод. После столичного ответа в селении среди местных возникла некая сплочённость, и причина такой сплочённости – в затронувшей всех разом немой, беспрекословной покорности судьбе.

Когда умерла пятилетняя девочка, её, вопреки обычаям и установившемуся с недавних пор порядку, сжигать не стали. Гроб был совсем крохотный, для него нашлось место на кладбище, среди нагромождений могильных камней – да и родители очень просили. Просили доктора, сделавшегося вдруг особенно печальным, священника, старейшин, даже Лигнина упрашивали, так что в конечном счёте сошлось.

5) Нигредо – возможное состояние человека на начальном этапе психоанализа. Психологическое состояние при этом негативное, в сновидениях и фантазиях преобладают образы смерти, разрушения, всего подземного, отвратительного. Связано со встречей с архетипом Тени.

Мать девочки первые после похорон три дня не отходила от могилы. Сидела рядом с трогательным земляным бугорком, поникшая, обнимала невысокий памятник.

Мать обнимала этот неуместный, противоестественный памятник, отменяющий самоё понятие справедливости, и всё причитала и плакала, причитала и плакала, неудержимым потоком; не могла остановиться, пока не рухнула от изнеможения в обморок. Муж отнёс несчастную домой, уложил в постель, и та больше не вставала, даже придя в сознание. Она надеялась, что у неё лихорадка – ей непременно хотелось оказаться больной, безнадежно, ей хотелось умереть. Никакие мужнины уговоры не действовали, а совсем скоро у выцветшей, резко постаревшей женщины действительно открылась лихорадка, чему жертва только обрадовалась, причём искренне, несмотря на мучительные боли, судороги, видения. «Это можно потерпеть, это можно», – успокаивала она супруга, приходя в себя. Ей, без сомнения, предстояло присоединиться к дочери, с той лишь разницей, что её-то тело обязательно сожгут, потому как же иначе. Но на момент, нами описываемый, она была жива. Живая, покоилась она в постели и щебетала по вечерам еле слышно, прерывающимся голосом:

– *Это можно потерпеть, можно потерпеть ещё немножко...*

Девятнадцатого июня Лигнин видел сон. О, разумеется, что-то и раньше ему снилось, всякий раз липкое, абсурдное, чересчур реалистичное, словно соткано из плотной материи, как всякому одинокому человеку, вынужденному мириться с теснотой да испытывающему беспричинную, казалось бы, на пустом месте возникшую тревогу. Однако в большинстве случаев свои ночные фантазмагии Андрей Михайлович вовсе не запоминал или воспринимал как нечто недостойное внимания. Этот же последний сон никак не шёл из головы, ворочался там среди прочих мыслей, отказываясь замолкнуть, исчезнуть; он как будто предупреждал о надвигающемся бедствии.

Снилось ему, будто он всё ещё заперт в прихожей старейшин, ожидая своей очереди на странном, явно затянувшимся собрании. Темно, но как-то иначе, словно сквозь эту темноту пробивается слабое мерцание. Холодно. Лигнин вдруг понимает, что сидит не на лавке, а на чём-то холодном, бесконечно твёрдом, с шероховатой поверхностью – вероятно, на камне.

Протягивает руку, дабы коснуться стены. Сыро. Пальцы ощущают липкую, податливую мягкость (то ли мох, то ли плесень, то ли какой-то непомерно расплотившийся грибок), за которой скрывается та же нерушимая твёрдость, твердолобость. Это не дерево, ведь в такой сырости верхний слой дерева наминает труху – это камень. «Так значит, – думает Лигнин, – я в пещере! В пещере!» От подобного открытия леденеют кончики пальцев, повсюду наты-

кающиеся на неотвратимые, упрямые глыбы. Внутренняя поверхность бёдер съёживается от испуга, по ней пробегают мурашки, вызывая своим настырным щекотанием лёгкую тошноту. Мерзко.

Напротив до сих пор сидит странный незнакомец. Лицо его, как прежде, совершенно бессмысленно и безосновательно подвешено во тьме. Только веки плотно сомкнуты. Они белые, тонкие, так что сквозь них просвечивают вены, и влажные.

– Откройте глаза, – просит не своим голосом Андрей Михайлович. – Откройте! Я хочу увидеть! Я должен удостовериться! Ведь у вас там действительно пляшут крошечные фигурки?

– Не могу, – отвечает человек и улыбается.

– Почему? Не хотите?

– Вырезали, – как-то невпопад говорит человек, и Лигнин переспрашивает:

– Что?

– Глаза.

Тут незнакомец размыкает веки, но глазницы пусты, как у древнего мертвеца, в них только непроглядный мрак да ещё отвратительная белая слизь по краям. Андрей Михайлович дотрагивается до этого лица, сам толком не понимая, зачем, лицо холодное, закороченное, сырое и мягкое; пальцы проваливаются в уступчивую ткань, разрывают её, вязнут в ней, а незнакомец принимается истерически гоготать. Смех спицами врезается Лигнину в уши, режет, заполняет собою голову, так что вся она начинает нестерпимо болеть. Невыносимо! Невозможно!

Андрей Михайлович бросается бежать...

Бежит довольно долго, пока наконец не оказывается в широком гроте со сводчатым потолком. Здесь светлее и множество народу. Люди столпились вокруг безликой женщины, ничком пред ними распластавшейся. Женщина вздрагивает, завывает, корчится в судорогах; тело её то выгибается дугой, то ломается пополам, а иногда вдруг обмякнет, но для того лишь, чтобы напрячься в очередной уродливой фигуре.

– Расскажи нам! – гудит толпа. – Расскажи ещё!

– Они говорят: *единство*, говорят: *множество*, говорят: *ты, ты сама!*

Тогда со стен пещеры, с потолка обрушиваются потоки воды. Вода, тёплая, грязная, почти сразу заливает помещение до верха. Женщина, признанная местной толпой оракулом, захлёбывается, остальные стоят по шею в образовавшемся месиве, не шелохнувшись, покорно ожидая своей участи – так, словно давно предвидели подобный исход и потому смирились. Лигнин пытается отыскать лазейку, через которую проник в грот, но никакой лазейки больше нет, стены неумолимы, непроницаемы, безжалостны.

Пещеру заполняют жидкость и звук.

Звук. Какой? Что-то отрывисто, с точным соблюдением ритма прорывается сквозь сон, сквозь мембраны в головной мозг – возникает невольное ощущение, будто источник там, внутри, и находится, и значит, звук рождается там же, а вовсе не проникает тонкими, едва уловимыми волнами через ушную ра-

ковину, не интерпретируется посредством сложного органического аппарата...

Дождь? Дождь ли это наконец начался? Его ли это стальные, размытые пальцы тарабанят по крыше?

Лигнин просыпается посреди ночи. За окном тьма... и дождь!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Отец Тимофей

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Икона. Старые люди

Восемнадцатого июня, накануне той ночи, когда Лигнин вскочил, поражённый слишком ярким сновидением, и застал начало ливневого периода, отец Тимофей пробудился перед самым рассветом, мучимый нестерпимой головной болью. В мозгу как будто что-то дёргалось, сжималось и уплотнялось. Вены на висках взбухли. На лоб, покрытый жирным слоем пота, налипли пряди волос.

Отец поднялся на ноги, с трудом разгибая суставы, зажёл свечу, от которой в помещении разлился тусклый, неверный свет. Свет подчеркнул плотность теней, очертил и очернил их, избавив от той же плотности все предметы в келье – узкую койку, стол грубой отделки (кажется, самодельный), распятие на стене, даже стены и наглухо заколоченное оконце. Оттого предметы эти отошли на второй план, ступселись, те же, что были ближе к полу, вовсе исчезли, предоставив мерцающей пляске неограниченный простор. Тени дрожали, тени танцевали, шептались безо всякого стеснения, невозможно обнажённые, окутывая проснувшегося человека жутковатым, но сладостным туманом да тщетно соблазняя своей бестелесной, завораживающей и – увы – мёртвой сущностью. Пляска мертвецов, не иначе.

Священник отыскал крохотное зеркальце, поднёс его к самому пламени, так близко, что в лихорадочном стремлении лучше видеть едва не обжётся, принялся разглядывать своё лицо. Правый глаз, кажется, без изменений: роговица цела, белые щупальца по краям замерли (впрочем, разве позволительно доверять собственному зрению при столь скверном положении дел?). Левый же был залит кровью, изнутри; доступная для осмотра глазная выпуклость покраснела и напоминала теперь переспелый плод, поверхность её выглядела рыхлой. Боль от повреждённого глаза тянулась к виску, глухо отдаваясь в затылке и во всей голове. А порою казалось, что и во всём теле.

Священник провёл по лицу рукой, намереваясь убрать с него утреннюю отёчность.

«Что же это? – подумал Тимофей. При этом боль, словно противясь мыслительному процессу, начала пульсировать. – Неужто инсульт? Однако же я не парализован, способен здраво рассуждать, видеть и чувствовать. Могу говорить, а ведь при кровоизлиянии... Да могу ли я, в самом деле, говорить?»

От внезапной немощи старик вновь сел на койку. Затем пригладил бороду, словно подобное действие могло помочь, разомкнул онемевшие ото сна губы и произнёс то первое, что пришло на ум:

– Для того, чтобы совершать мщение над народами⁽⁶⁾.

Прислушался к звуку собственного голоса, дабы удостовериться, что слова, призванные им к жизни, достаточно вняты (по крайней мере, не менее, чем всегда); повторил ещё раз, громче, и остался доволен. Таким образом, заключил он, головная боль скорей всего вызвана либо недосыпом, либо кошмарной фантазмагорией, сразу после пробуждения забытой, либо, наконец, не слишком удобным положением туловища во сне, то есть никакой опасности не представляет. Словно в подтверждение этому, боль на время отступила.

Священник сходил к реке, совершил утреннее омовение, весьма скудно позавтракал и отправился в путь, задуманный им со вчерашнего дня.

Едва ли мы сумеем достоверно объяснить причину этого путешествия, ибо сами принуждены строить догадки. В конечном счёте, у Тимофея засела глубокая убеждённость в необходимости и даже спасительности такого мероприятия. Твёрдая мысль делается порою навязчивой, подчиняет себе всего человека целиком, однако путь становления подобной мысли подчас ни стороннему наблюдателю, ни самому субъекту проследить невозможно. Быть может, и повреждение-то в голове случилось у Тимофея именно вследствие этой господствующей идеи – утверждать не станем. Кроме того, версия о том, что отец Тимофей будто бы сумасшедший, некоторых вполне удовлетворяла, а сумасшедший может позволить себе всё, что заблагорассудится.

Итак, священник отправился в соседнее поселение, где произошло чудо, повлёкшее всеобщее среди прихожан безумие. В том, что икона кровоточила, он не сомневался, не сомневался же и в божественности данного явления (не мог позволить себе тех предположений, которые исключали бы божественность произошедшего), потому эти вопросы обсуждать не хотел. Другое волновало его: как могло радостное событие привести зрителя не к полагающемуся смирению, но к тошнотворным схваткам хаоса, вездесущему, звериному вожделению, к сумасшествию! Одним словом, как при виде *чистой* крови человек посмел возжелать Бога, почему?

Разумеется, если бы отец не видел мифической связи между чудовищным столпотворением *там* и преступлением, и последовавшей затем лихорадкой *здесь*, он бы не отважился на столь долгое да при его слабом зрении даже опасное путешествие, но в том вся беда, что эту самую связь, в силу безумия или мудрости, священник видел. Ви дение это, понимание тонких, едва уловимых причинно-следственных нитей, о существовании коих никто совершенно не подозревал, каким-то нелепым образом переплеталось в сознании Тимофея с насущным желанием или, вернее, потребностью найти наконец избавление для родного посёлка, а через него – для

себя. Вкупе два этих мотива – тонкое понимание да необходимость спастись – заставили иеромонаха отправиться в путь. Впрочем, поводом послужило, разумеется, обстоятельство иного рода. В том оно заключалось, что служителю, подобно прихожанам, следует пользоваться услугами исповедника, и для Тимофея такой срок настал [5].

Обитель, в которой находилась кровоточивая икона, была закреплена за иереем, при крещении получившим имя Павел. Тимофей до того несколько раз с ним виделся, но всё мельком да невпопад, так что близкого знакомства между ними не состоялось. Один раз только они беседовали (вероятно, какой-то отвлечённый теологический спор), воззрения Павла показались тогда Тимофею довольно сомнительными, хотя, кажется, толково изложенными. О первом, кроме прочего, всегда ходили не слишком лестные слухи, однако второй никогда слухам не доверял, в особенности учитывая то обстоятельство, что ему самому местные приписывали безумие. А всё же одна весть настораживала – поговаривали, будто бы Павел некогда был замешан в неприятной истории с несовершеннолетней девочкой, и поскольку напрямик о его участии ничего не говорило, отлучение заменили своеобразной ссылкой в здешнюю глушь, к дикарям и поселенцам, для усмирения отвратительных страстей, исправления неудобных наклонностей. Нет, в эту сплетню Тимофей никоим образом не верил, но, принимая во внимание чрезмерную задумчивость о несчастьи, приключившемся с Дианой, сама возможность такого пристрастия в человеке пугала его донельзя. Ничего выяснять он в любом случае не хотел. Следовало избегать сомнений и пищи для сомнений, ибо таковые окончательно надломили бы старика, лишили разума, без того затуманенного. Верно, следовало избегать семян, дающих недобрые всходы. Ведь он шёл за спасением и одновременно за осознанием. Однако не знал, что между спасением, суть которого – неведение, и осознанием, суть коего – доскональное разбирательство всех событий, предшествующих эпидемии, – придётся выбирать.

Тимофей отправился в кромешный мрак, лишь интуитивно догадываясь о нужном направлении. Он предполагал оказаться в поселении к началу третьего часа службы [10], при воспевании сошествия святого Духа, однако дело это, по всей видимости, затягивалось. Левый глаз совершенно заплыл кровью, и вообще перед глазами надоедливими искорками всё время мельтешило красное, зелёное; престарелый священник не был уверен, что идёт туда, куда следует. Несколько раз порывался вернуться, но то ли не желал в силу упрямства, то ли из-за «твёрдой мысли» не мог позволить себе подобной слабости, в терминах «твёрдой мысли» опять-таки; потому, обнаружив по определённым признакам (редкое деревце, колодец и прочее), что сбился, останавливался на привал. Когда взошло солнце, остановки пришлось делать чаще – светило вздыбилось на небо стремительно, уже разогретое, побелевшее от соб-

6) Псалтирь, 149:7.

ственного тепла, так что жара установилась мгновенно. Она изматывала путника.

Кругом простирался пустырь, местами совершенно выжженный, почти обуглившийся, местами покрытый чахлой, рыжеватой травой. «Ах, кабы возвышение какое отыскать да поглядеть, сразу стало бы ясно, куда теперь идти», – подумал Тимофей. Как назло, никаких возвышений поблизости не наблюдалось, и после каждой передышки приходилось продолжать путь по наитию.

Наконец на юго-востоке показались деревянные постройки, неровными рядами. Тимофей устремился к ним, вполне справедливо полагая, что достиг цели.

Действительно, вскоре он оказался посреди небольшого селения, плотно заставленного домами да испещрённого узенькими, словно ходы в улье, каналами. Дома стояли преимущественно чёрные, старые, но, по всей видимости, старательно и регулярно ремонтируемые. Что ж, вполне вероятно, народец здесь обитал менее отчаявшийся, да и вообще был как будто лучше, судя по отсутствию случаев воровства и самосуда, за ним неизменно следовавшего.

Церковь отца Павла располагалась в заболоченной низине, которая даже в самые жаркие дни толком не просыхала. Неподалёку высилась колоколенка, изрядно накренившаяся, как будто доживающая последние дни (кажется, она давно уже стоит тут без надобности, да и колокола проржавели – так можно заключить, исходя из того главным образом, что при попадании солнечных лучей медная поверхность не превращалась в одно сплошное сияние, подобно чистому металлу, и не давала бликов; на ней оставались пятна, игре света не подвластные – хотя отсюда, снизу, было совершенно не видно, что эти пятна из себя представляют, можно было догадаться, что образованы они хлопьями вековой ржавчины. Да и все колокола целиком окутывала рыже-зелёная пленка).

Болотце, таким образом, было тщательно укрыто перекрёстной тенью – от колоколни с одной стороны и западного крыла церкви с другой, – тень защищала его от губительного для всякой сырости влияния света да едва ли пропускала тепло. Потому влага сохранялась. В болотце кишела отвратительная бело-зелёная живность, навроде гнуса.

Вблизи от церквушки осело сборище нищих – Впрочем, они никого особенно не беспокоили и находились на таком почтительном расстоянии, что упрекнуть их было совершенно не в чем, разве только в нищете.

Тимофей поднялся на крыльцо (ступени на его медлительные шаги отозвались скрипом), отворил дверь, с трудом поддавшуюся его усилиям, вошёл в тёмный, глухой притвор и дальше, стараясь не натворить никакого шума.

Несмотря на то, что подходило время седьмого часа службы, во всех помещениях была тишина и пустота – так, словно не только прежние обитатели да кровожадные посетители покинули это место, но сам Дух покинул.

Священник отправился напрямик к иконостасу, желая увидеть образ, чудотворность коего ныне горячо обсуждалась в некоторых кругах. Он испытывал лёгкое нервное возбуждение, и с горечью признавал, что возбуждение это – вовсе не порыв души, алчущей веры, и даже не то волнение, какое испытываешь, приближаясь к пониманию чуда, к чему-то великому либо неординарному, но самая обыкновенная физиологическая взвинченность, тревога, во всяком почти человеке при виде окровавленной плоти рождающаяся – как будто облик, запечатлённый на иконе, олицетворял собою истерзанное человеческое тело, не более того.

В замешательстве глядел Тимофей на прославленную икону. Спаситель свой омертвелый, навеки обездвиженный взгляд устремлял поверх смотрящего, но и не к небу, и тем паче не к земле, а так, отвлечённо, словно и небо, и земля, и сам смотрящий безразличны ему. Глаза его были полностью залиты кровью, отчего делались жестокими, а пожалуй, что надменными, и вся-то икона замазана была в иных местах тёмными пятнами – здесь кровь тщательно смывали, но ржавые полосы тянулись до самого пола, несмотря на всяческие старания от них избавиться, увековеченные. О, если бы некий неопределённый художник, в безумии своём дошедший до низшей степени падения – до такой низшей, после которой и жить-то никак нельзя, до наинижайшей степени, – если бы такой художник вздумал во что бы то ни стало изобразить порочность Христа, то, вероятно, именно так следовало бы изобразить. Пред смотрящим представал не тот Иисус, что пострадал за человеческие пороки, а тот, что вобрал их в себя, все, до последней капли. И столько было этих поглощённых пороков, что тело вобравшего прогнило, да ржавая, грязная кровь хлынула наружу в непреодолимом своём стремлении вернуться в мир, обрести мир, завоевать мир, разжиться и расплодиться. То была картина Падения, призывавшая лишь к хаосу, распаду, беспорядочности да смерти, в душах же тихих могла вызвать одно смятение. Глядите! – как бы говорил образ всякому. – Глядите! Христос ваш прогнил, подурнел, а ныне гордо выставляет чахлые слёзы свои напоказ! Так что же вы... не идёте за ним?

Так говорило чудовищное изображение, так пела в нём кровь, и поскольку выглядело оно столь противоестественно да столь нелепо, навязчиво предлагало себя и смерть, Тимофей смутно почувствовал, что пред ним – упадничество, творение рук человеческих! Нет, он тогда ничего не думал, ибо в смятении не мог решиться думать так, не смел дать волю подозрению своему – он именно почувствовал да сразу отпрянул, готовый броситься вон, не исполнив и даже вовсе позабыв цель своего здесь пребывания.

Однако же позади него возник отец Павел – ни по выражению лица его, ни по приветствию совершенно нельзя было понять, давно ли он вошёл или только теперь, подстерегал ли гостя, внимательно наблюдая за каждым его шагом, жестом, действием, способным выдать ход размышлений, либо же всё – только странное, но весьма удачное совпадение.

Они весьма холодно приветствовали друг друга, и Павел предложил перейти в другое помещение.

– Отчего же? – спросил Тимофей. Второй священник вместо ответа кивнул в сторону окровавленной иконы, давая понять, что при таком соглядатае всякий разговор заранее обречён на неудачу. На иконостас он глядел с опаской, странным вожделением, как плотоядное глядит на сырое мясо, почему-то с гордостью. От смешения столь различных чувств лицо его кривилось, делалось чересчур подвижным и хитрым, а потому отталкивало.

Отец Павел развернулся, направился к одному из боковых проходов, приглашая гостя за ним следовать.

– Лучше всего устроиться в одной из приютских келий – там, где я живу вне службы, – говорил Павел. – Тут ведь несколько пристроек имеется, всё с такими вот переходами, так что и вся церковь в форме креста выходит, если сверху смотреть. Приют хотели обустроить, ночлежку и прочее. Но, видишь ли, сирот почти не оказалось, ибо какие уж тут дети! А если детей в деревне нет – так и сирот вовсе нет. Недавно распорядились в те помещения бродяг определить, да только им на улице привычнее, так что они продолжают снаружи ошиваться, милостыню просят. Я, впрочем, этого не люблю.

Оба служителя вошли в зал, предназначенный для несуществующих сирот, и стояли теперь у двери нужной комнатки.

– Подожди, отец Тимофей, я ещё не всё успел пояснить. Там, видишь ли, человек вместе со мной обитает, безногий. Ноги-то у него есть, не ходят только.

– Давно он у тебя?

– С конца весны. Путник, и довольно молодой, из тех, что дома отродясь не имели да вынуждены всю жизнь по свету бродить. Задавили его во время богослужения и то ли позвоночник повредили, то ли ещё какая беда приключилась – одним словом, упал он, так с тех самых пор встать не может. Тосковал до слёз поначалу, но успел малость привыкнуть. А неделю назад кашлять стал, бредить, и весь горит – вот я к себе перенёс, чтоб лекарство давать вовремя да чтоб не помер. Вообще он не слишком помешает, я койку-то за перегородку поставил.

Наконец вошли. Комната оказалась тесной и тёмной. Оконце было аккуратно затянуто шторкой, света сквозь неё просачивалось совсем немного. Справа от входа громоздились бытовые принадлежности, горелка, кухонный стол, умывальник. Левая половина помещения была вся напрочь завешена – вероятно, именно там покоился безногий. Под «перегородкой» Павел понимал грязный тюль, рваное покрывало да ещё множество ветхого тряпья, причудливо и комкообразно прикреплённого к леске. Леса тянулась под самым потолком, так что больного и вправду совершенно не было видно, хотя кашлем или стоном он изредка напоминал о своём присутствии. А то начинал вдруг заговариваться, впадать в бред, и это тоже хорошо и разборчиво было слышно. Бормотал он, однако, ужасную нелепицу, порою же принимался издавать нечто вовсе нечленораздель-

ное, этакую смесь из односложных звуков, вроде «га» или «бо», всё это лихорадочным, но настойчивым шепотом. Вот и сейчас из-за самодельной занавеси раздавалась полная околесица, прерываемая хрипами, слезами, надрывным харканьем.

Следует отметить (Тимофей в первую очередь почему-то обратил на это внимание), что комнатка была всё же значительно светлее и просторней, чем собственная его в заколоченном храме клетушка.

– Ты присядь, – сказал Павел. Раздвинул «перегородку», так что между нечистым тюлем и покрывалом образовалась небольшая брешь, нырнул в закуток, предназначенный для своего беспомощного подопечного.

Тимофей осмотрелся немного, отыскал табурет, придвинул его к столу; облокотившись, сел. Затем принялся с силой потирать руками виски – вероятно, голова вновь разболелась. Глаза тоже невыносимо жгло. Священник прикрыл веки, попытался было дотронуться до них, дабы облегчить страдание, но от прикосновения брызнули слёзы и сделалось только хуже.

Вернулся Павел.

– Отёки на теле, – произнес он задумчиво. – Кровь, вероятно, застаивается, надо будет вечером растереть его хорошенько. Да ты, я смотрю, и сам неважно выглядишь.

– Нет, что ты! В дороге утомился, только и всего...

– Скверно, скверно выглядишь. Зря ты так долго пешком добирался, ни к чему это, да и не в твои годы. Ты что же, выходит, на икону поглядеть приходил? Помилуй, да разве ты чудес не видывал!

– Не чудо здесь произошло.

– А если не чудо – тогда что же?

– Не могу знать...

Помолчали.

– Не знаешь, и говорить нечего, – Павел приподнялся со своего места, наклонился ближе к Тимофею да принялся в упор, мерзко и въедливо, его рассматривать – так, словно не человек перед ним вовсе, а кукла или мертвец, потому можно столь бесстыдным образом уставиться. – Что с твоими глазами?

– Я ведь слепой на один глаз, тебе разве не известно?

Павел вернулся на прежнее место, полубоком. Внимательность его сменилась рассеянностью, быть может, показной, он стал бездумно глядеть в окно. Окно, впрочем, было занавешено, потому совершенно неясно, что он пытался там отыскать.

– Откуда мне знать, слепой ты или нет, – нараспев. – Слухи, Тимофей, слухами всё больше кормимся. А ведь тут всё перемешано, всё намеками, да и приврать могут по невинности. Говорят, к примеру, что безумен ты, а ещё говорят, икона-де здесь чудотворная, исцелить, мол, способна, или что столп огненный грядёт, что мор скоро среди скотины начнется невиданный – так, в конечном счёте, мало ли что говорят? Тем более, что исцеляющая икона до сих пор никого не вылечила, мор же огромных масштабов среди животных случиться в принципе не может, потому как для обещанных масштабов в здешних

краях и скота-то столько не наберётся. На самом-то деле как всё устроено, как всё произойдёт? Так что одни сплошь слухи. Положим, несут они в себе долю истины...

– Одна ложь, – перебил Тимофей. – Люди сочинять привыкли от скучной жизни. К тому же, боязно им, от неизвестности-то, вот они присказками своё неведение стараются восполнить, страх свой перебороть.

– Отчего же у них страх?

– От неизвестности, я же говорю. Никто не может знать наверняка, что с ним завтра станет. В Мёртвом Городище болезнь ежедневно хоть одну человеческую жизнь да уносит, и столько уже умерло! За рекой невообразимая засуха, да у нас тоже – поля сожжённые стоят, большая часть посевов уничтожена. Даже пустырь, что по дороге сюда кругом простирается, и тот выжжен до черноты почти, так что ни одной травинки не осталось. Да и... витает что-то в воздухе мистическое, недоброе, а народ такое утром чувствует...

– Опять бесы твои?

– Может, и они, – ответил Тимофей уклончиво. – Я, впрочем, о другом поговорить хотел.

– Погоди маленько, сейчас обо всём поговорим. Заинтересовал ты меня одной мыслью. Именно же ты сказал, будто слухи – ложь, а я ведь тебе возразить могу, – слащаво улыбнулся. – Всякий слух, всякая такая молва непременно несёт в себе крупицу правды, иные совсем крохотную, а иные даже наполовину соответствуют истине. Но откуда же мне знать, что в них правда, а что – плод фантазии, разыгравшейся от скудоумия? Опять же, говорят, ты сумасшедший. Оно, положим, мне по нраву, потому как сегодняшнее твоё посещение явно на это обстоятельство указывает – на сумасшествие. Посуди сам, отправился бы в такой долгий путь нормальный человек, да ещё при плохом самочувствии? Дело ли это? Однако же, если с другой стороны посмотреть, говоришь ты здраво, а у сумасшедших речь в первую очередь страдает – как салат, знаешь, ничего не разобрать. Если так рассуждать, ты гораздо более в своём уме, чем, скажем, безногий за перегородкой. Или вот говорят, ты совсем слеп. Я и сам вижу, что слеп, но ведь на один глаз только!

Ты вот послушай! Я когда давеча к тебе приглядывался, так не затем же, чтобы определить, зрячий ты или нет, просто очень меня твой вид обеспокоил – кровоизлияние у тебя в глазу-то! Я слышал, возможно такое, чтобы несколько крошечных сосудов в голове лопнуло, а то и в самом мозгу, ты можешь даже не заметить, и последствий долгое время никаких не будет, только боль ужасная да как раз глаза покраснеют. А кровь потихоньку накапливается, пока гнить не начнёт. Вот тогда безумие неожиданно настигает. Послушай, Тимофей, послушай! Да у тебя голова не болит ли?

– Болит. Но это не беда, испугать меня не выйдет, – улыбнулся снисходительно, однако тут же вновь сделался серьёзным и даже как будто погрузнел. – Я поговорить с тобой хотел, отец Павел, а ты всё о

другом. Такой паутиной слов меня оплетаешь, так заставляешь мысли мои путаться, что и не разобрать, что к чему...

– Ясное дело, не просто так пришёл. Что ж, приступай.

– Это всё может показаться надуманным, смешным или... вовсе какой-то глупостью. Скажи, а ты помнишь, как икона кровоточить начала? То есть как именно всё происходило?

– Не думал, что ты испытываешь любопытство подобного рода. Верно, и смешно, и глупо. Да кровь-то ночью потекла, я и не видал. Утром только, когда проснулся да принялся к службе готовиться...

– Я совершенно забыл! Служба-то не кончена, что ж ты тут, со мной сидишь?

– Так и ты не служишь, Тимофей, и только сейчас об этом вспомнил. Усталость меня донимает, не могу каждый день кафизмы читать. Двери держу открытыми, если кому понадобится – зайдёт, помолится, свечку поставит, да и меня отыскать не сложно. В Городе, да и вообще в иных больших городах, церкви только четыре дня в неделю работают, в течение трёх же оставшихся дней заперты, и никого-то в них не допускают. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу. Я тут же властям сообщил, затем епископу...

– И что, икона сразу так выглядела?

– А тебе что же, смотреть противно? Теперь кровь высохла, раньше лилась, не переставая – тогда было ещё ужаснее, и запах омерзительный по всей церкви разносился. Прихожане в скотское состояние и обращались от запаха. Люди многое сохраняют в себе от дикого зверья, так что всякий почти особенно мощный раздражитель, этаким призыв природы, заставляет их оступить, действуя не на разум, а на глубинные, инстинктивные чувства.

– Ты уверен ли, что плач сей и икона сама – чудо?

– Нет. Если хочешь знать моё мнение, она изнутри вся прогнила, до самого основания; в образовавшуюся труху кровь и влила, чтоб сквозь трещины просачивалась наружу да необходимое впечатление производила.

– Ты так... полагаешь?

– Мне это известно наверняка.

– Откуда же?

Павел, как прежде, когда разговор между ними ещё только зарождался, вплотную приблизился к своему гостю. Одними губами, еле слышно проговорил:

– А ну, как я сам икону кровью вымазал, а всем сказал – чудо, мол, свершилось?

Сказав так, священник ужасно побледнел, сделал противоестественное движение в сторону собеседника, словно намереваясь напасть, но тут же пришёл в себя да в совершеннейшем унынии, вдруг возникшем, нетвёрдо пошатываясь, рухнул на табурет. Сгорбился, застыл, онемел – видно было, что даже дышать ему вдруг стало неважно.

Тимофей сидел, не шелохнувшись. Всю эту ужасную игру лица, череду гримас, промелькнувших за долю секунды и соединившихся в итоге в одно белое, скорбное нечто, всё это надломленное, реши-

тельно-боязливое, и даже враждебное движение в свою сторону он наблюдал спокойно и понимал верно. Так значит?..

– Как же ты посмел? – спросил Тимофей.

Павел ничего не ответил, так что пришлось повторить и во второй, и в третий раз, гораздо громче – не срываясь, впрочем, до откровенного крика, однако же на грани, со звенящей дрожью в голосе, которая крик предвещает:

– Как же ты посмел? Как?

– Да так и посмел. О, видел бы ты истерику, здесь разыгравшуюся! Тебе будет непросто меня понять. Я впервые об этом подумал давно, уж не помню теперь, насколько – когда обнаружил трещину, прямо посреди образа возникшую. Снял я его тогда, а позади-то всё в трещинах оказалось. Обратная-то сторона склизкая, подгнившая – от сырости сделалось. В беспамятстве ощупал каждую щель, обнаружил, что внутри вся дощечка как губка – так вот уже в тот момент что-то во мне сдвинулось, задрожало, новое чувство родилось. Не мысль твёрдая, конечно, но какое-то странное подозрение на эту самую мысль, предугадывание, что ли...

Тревожно сделалось мне и боязно, отец Тимофей! Словно воздух кругом разряженный, дыхание перехватило! И такое, знаешь ли, мерзкое чувство возникло, будто вся церковь моя наполнена страшными, отвратными существами, коих мне увидеть никак нельзя, и скрываются они как раз под внешней тканью бытия; ткань же эта стала вдруг совершенно тонкой. Я тогда впервые почувствовал, как же за долгие тысячелетия небрежного использования эта благодатная, спасительная ткань истончилась!

Представил я, – продолжал отец Павел, захлёбываясь, – сдвинется сейчас всё, раскрошится, истинная суть вещей обнажится; вещи предстанут передо мной голые, неприглядные, дряхлые. И они – неожиданные посетители, существа те самые – разом на меня набросятся, восклицая угробно «Ты, ты виновен!» А в чём же я был виновен, если даже сама мысль ко мне в голову не закралась, а только предугадать удалось ту неизбежность, которая влекла меня затем! Икона у меня из рук вывалилась – руки ватные, холодные – вскочил я да бросился из церкви вон. Снаружи хорошо сделалось, теснота пропала. Вернулся я вскоре и вижу, что вследствие удара задняя стеночка, твёрдая-то, трещинками испещрённая, у иконы отпала, обнаружив внутренности. Там действительно оказалась сплошная гниль, пористая, мягкая, влажная. Только я-то образ на прежнем месте установил и позабыл.

В самом начале нынешней весны отправился я к одному прежнему знакомому. Отношения у нас с ним никогда толком не складывались, однако мне периодически помощь его требовалась. И тогда тоже. Он же меня надоумил, укрепил идею, которая лишь однажды являлась мне. Говорил о необходимости чуда, о том, что религия в здешних краях должна непременно обновиться, и обновление это через одну только кровь доступно, через нечто ужасное, кощунственно-низкое, но всеми и всюду

желанное. Через жестокий обман, иными словами, подмену ценностей, ибо повсеместно обмана втайне хотят. Предупреждал, впрочем, этот человек о бедствиях, которые-де поступок мой повлечёт, да я не поверил. И теперь не верю – слухи только, совпадения, случайности. А самое-то главное, говорил, что моё такое преступление – непременно моё, – в скором времени приведёт к росту влияния Церкви и преумножению богатств её. Ведь ты знаешь, отец Тимофей, у нас за преумножение богатств всегда почитают.

– И как же ты... теперь-то?

– Ха! Интересный ты человек, отец Тимофей! Ты что же, муки совести решил мне навязать?

– Чего же их навязывать, коли и так видно, что мучаешься.

– Нет, не раскусишь! Полагаю, мне предложат сан более высокий, или поощрение какое, так что переберусь отсюда поближе к столице, а столица означает власть.

– Какая уж тут власть!

– А ты что же думаешь, все церковные служители тебе подобны, то есть слепы и непритязательны? Или ты полагаешь, что стремящийся к власти желает более всего управлять массами, ходом истории, народным выбором и прочим – политикой, одним словом? Но, видишь ли, никакая политика в конечном счёте не способна в полной мере удовлетворить притязаний своего героя. Потому пока одни из нас заботятся о спасении души, а другие всерьёз надеются послужить Богу, третьи жаждут власти куда большей, нежели власть политическая – таким необходимо получить власть над душами, ибо нет ничего приятней, чем управлять не только помыслами, чувствами человека, но и глубинной сутью его! И потому же происходившие здесь припадки безумия, хоть и разочаровали меня своей непотребностью, насущное желание удовлетворили вполне, ибо хоть не сам я, речами своими, но моё творение полностью подчиняло себе всякую почти душу. Оно подчиняло как раз глубинную суть, ибо помыслы прихожан оставались прежними – что ж, тем яснее, что помыслы ровным счётом ничего не означают. А представь, что я смогу сделать, будучи настоятелем или старейшим пресвитером храма!

– Страсть в тебе непозволительная. А что же, пустоты или безразличия какого ты не ощущаешь?

– Пустота, безразличие – это всё от старости, Тимофей.

– Что же, и вины за собой не видишь?

– Ты задал довольно сложный вопрос, честно скажу. Положим, иногда чувство некой вины меня донимает, да только не вследствие того обмана, который я совершил, не из-за поддельного чуда. Но я бы хотел найти оправдание. Нам всем ныне необходимо оправдание, хоть сколько-нибудь достоверное.

– Существует множество поступков, которые нельзя оправдать.

Павел таинственно подмигнул, помолчал с минуту и заговорил чуть тише, как бы второпях, так что слова насклакивали друг на друга:

– Оно, конечно, верно. Да только если ты так рассуждаешь, значит, не понял ещё ничего. Не мне одному необходимо оправдание, но и тебе, и всем нам. Ты думал, я об исповеди толкую, послушании, о так называемом замаливании (а порою замалчивании) грешков? Нет, всё устроено куда как нелепей! Дело в том, что нам предстоит оправдать не наши поступки, даже не наши преступления, с этим кое-как справляется совесть да и, говорят, бог рассудит. Нам необходимо оправдать нашу жизнь – твою, мою, чью-то ещё – сам факт существования. Вот ты сделал много такого, о чём говорят – доброе дело. Иные считают, что ты, отец Тимофей, трудами своими уже умудрился заслужить благодать – но скажи мне, что толку, если труды твои никому не нужны, какая польза от них, что в них такого уж доброго? Какая польза от восстановления храма, который никто не посещает, и который сам же ты наглухо заколотил? Ну? Так что же хорошего ты совершил, архимандрит, брат мой? Так или иначе, мы оба должны теперь оправдаться. Этой необходимости не возникло бы, если б мы с тобою остались верны прежним нашим идеалам. Но – согласись – перспектива совершенно исчезнуть после смерти звучит куда правдоподобнее, нежели Царствие небесное; эта перспектива с некоторых пор фундаментальна.

– Я верую...

На слабое и в общем бездоказательное возражение Павел не обратил никакого внимания, а пожалуй, вовсе не услышал, постепенно разгораясь, потому продолжил свои пространные рассуждения:

– Есть люди, которые не задумываются, хорошо ли, плохо ли то, чему они служат. Теофил, например. У него всегда найдется строка из Писания или других трудов, полная убеждённости, завершённая и совершенная в его исполнении, ну а ты, к примеру? Скажем, произнёс ты псалом, сразу, как проснулся, при свече да в замешательстве, да произнёс-то безукоризненно, грозно, как строка требует – придрачься не к чему! И разве легче тебе сделалось? Ведь это сколько противоречий сокрыто в одной только строке! Червь сомнения – для служения это плохо, тогда как ты должен непременно служить, а не властвовать. А сомнений – тьма! И не только и даже не столько в себе самом – куда там! А ты никогда не думал, что ту церковь, которой ты служишь, Бог больше не любит? И кому ты остался бы верен, коли бы они разошлись – Богу или церкви? А как же ты узнаешь, отошла твоя церковь от Него или не отошла?

– Не мучай меня, сам же понимаешь, что вопросы подобного рода у всякого почти из нас должны возникать, и кто-то преодолевает их, кто-то смиряется, кто-то впадает в блажь, а иные... иные как ты, отец Павел, забываются.

– Нет, не понимаешь ты меня. Кстати, раз уж я упомянул Теофила – он намерен приехать.

– Теофил? Когда?

– Неизвестно. По крайней мере, в мёртвое Городище. Эпидемия всё-таки, он хочет поддержать моральный дух и призвать жителей надеяться на милость высших сил. Так всё же зачем ты пришёл? Неужели только об иконе поговорить?

– В том числе. Мне почему-то видится некая связь между событиями, которые в физическом мире связанными никак быть не могут. Так что я действительно главным образом явился удостовериться в истинности чуда, а теперь вижу – всё ложь. Вижу также, что волна одержимости да болезненности именно в этом обмане начало берёт.

– Ты обвиняешь меня?

– Нет. Я не вправе тебя обвинять. Я о другом ещё хотел спросить. Помнишь ли ты женщину из нашего поселения, пришедшую на самую первую проповедь, организованную для восхваления чуда? Такая чёрненькая, осунувшаяся, с воспалённым лицом.

– Да разве я каждого из тех в лицо запомнил? Нет, тут и говорить не о чем, слишком большое количество народа за весну перебывало, очень многие из других краёв, так что все лица у меня поначалу перемешались, а потом и вовсе в одно обобщённое лицо слились. Стою, бывало, читаю проповедь, а на меня поверх бесформенной толпы лицо это огромное глязет, а самой толпы будто и нет. Вот так. Ты мне объясни: почему тебя эта женщина так интересует?

– Она... Я хоронил её.

– Ох, не та ли это вдова... – начал Павел, но Тимофей ответил, не дав договорить:

– Та самая вдова и есть. Я перед ней вину чувствую...

– Вину? Как же? В чём твоя вина?

– Не могу сказать.

– Да полно! Не можешь? Ты мне вот что лучше поведай, а то всё расспрашиваешь: существуют ли вообще те четверо, виновники то есть, о коих ты по всей округе растрезвонил, или ты не выдержал вида обнажённого женского тела, никогда раньше тобою не виданного, и... сам? Ну?

– Нет, это... не я...

– Тогда почему? Объясни мне.

Однако ничего объяснять местный архимандрит не стал. Вместо этого он поднялся со своего места и тихо произнёс:

– Я уйду. Мне пора уходить.

– Да постой же, чего это ты так? – Павел зачем-то озорно хлопнул в ладоши и громко рассмеялся, но тут же принял свирепый и совершенно неуместный вид. – Ах пора! Так иди, Тимофей, иди. Но ты запомни: я теперь тоже о тебе кое-что знаю. Я многое о тебе знаю. Так ты запомни! – вдогонку. – И доносить не вздумай ни епископу, ни единой живой душе!

Между тем подслеповатый старец, вздрагивая всем телом от последних услышанных слов, вышел на улицу и отправился домой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Павел размышляет

Павел после встречи с престарелым архимандритом на некоторое время покинул своего подопечного. Заперся в западном крыле, которое, несмотря на погоду, извечно было пронизано сквозняками, и принялся размышлять.

Он был довольно обеспокоен. Странное предчувствие возникло ещё утром, когда состоялся разговор с безногим, пришедшим вдруг в сознание (вообще приступы забывтья происходили с ним всё реже – вероятно, больной пошёл-таки на поправку). Затем, пока длилась изнурительная да беспорядочная беседа с Тимофеем, тревога усилилась, так что к тому времени, когда гость спешно покинул комнатушку, достигла наконец своего апогея и разрешилась гневным припадком. Весьма, впрочем, кратким и даже слабым.

О чём говорили с безногим, Павел помнил не очень хорошо. Посещение Тимофея взволновало его до крайности, и весь день прошёл, как в тумане.

Павел вполне справедливо считал этого подследственного старца помешанным, но не потому, что тот сочинял рассказы о бесах, не потому даже, что, согласно слухам, периодически видел их, а потому скорее, что Тимофей совершенно не пользовался положенными при его высоком положении привилегиями, наоборот же, вовсе о них позабыл. Павел не мог заставить себя произнести «Ваше высокопреподобие», ограничиваясь обращением «архимандрит», непременно издевательским тоном, будто сплёвывал с кончика языка, однако же завидовал такому назначению и искренне полагал, что, окажись в его собственных руках столь мощный инструмент власти, сумел бы распорядиться им с гораздо большей выгодой. То обстоятельство, что Тимофей фактически являлся настоятелем монастыря без монастыря, Павла не смущало нисколько, ибо он наивно верил, что даже при столь скверном положении дел обретение митры наделяет служителя практически безграничными полномочиями.

Вот только что на него нашло? Откуда это сиюминутное, но такое неотвратимое желание признаться? И не повлечёт ли подобная слабость нежелательных последствий, отлучения, не дай бог, или ещё чего? Да ведь и с самого утра зрело в нём и ныло предчувствие собственного падения, а теперь выходит, он сам же это падение и приблизил. Положим, он непременно хотел переложить часть вины на кого-то другого, сделать его сопричастным, или поддался старческой блажи. Но неужели так тяжело? Раскаяния или угрызений каких отец Павел признать за собой не смел. По его разумению получалось, будто из одного только упоения собою выдал он собственное преступление.

Донесёт или не донесёт Тимофей? Ведь он всё время витает в собственных мыслях, увлечён самокопанием, к тому же, совсем запутался. Вероятно, ни надобности, ни желания у него нет. К тому же, он по горло утонул в бедах своего селения, угнетаемого лихорадкой, да и связи с властями никакой не поддерживает.

Тем не менее встреча с епископом всё же возможна, коли последний решится нагрянуть в мёртвое Городище с визитом. Но, с другой стороны, даже если у Тимофея появится хоть какая-то возможность, это не означает, что он воспользуется ею. Да и что такое слова сумасшедшего, если и епископ изгоя за вы-

жившего из ума принимает, и митру-то вручил из жалости, утешения ради, да вот ещё чтобы отвязаться и разом покончить все дела в здешнем захолустье.

Интересовало также Павла другое: виновен ли в чём-то отец Тимофей? Если да, так будет ему предостережение: мол, донесёшь, так и я донесу. Но о чём? А если никакой вины нет? Ведь что может быть известно? Что старец сам хоронил убитую женщину?

Есть ещё одно незначительное происшествие. Ходили тут некогда двое бродяг, да рассказывали, мол, священник один при них себя в убийстве обвинил, поклонился им, прощения просить принялся. Так ведь опять-таки – сумасшедший, а значит, и присочинить мог и сам же поверить.

Нет, куда Тимофею до злодеяния! Но что-то он сделал же? Или под воздействием старческого умиления, принятого им за христианскую любовь, решил из одной этой любви ответственность разделить с преступниками? Или винит себя потому только, что не сумел помочь несчастной, когда та ворвалась в его обитель посреди ночи, нагая и безумная?

Однако же он занервничал. Это, впрочем, ничего не доказывает. Но наверное не донесёт. И даже наверняка молчать станет – не затем приходил. Он же некую мистическую связь видит... вот уж действительно признаки сумасшествия.

Так что не расскажет. А коли и расскажет, невелика беда...

Решив так, Павел заметно успокоился. В тот день он принял ещё двух прихожан, затем, ближе к вечеру, отправился в город, исповедовать одного умирающего (тому непременно хотелось перед смертью видеть отца Павла, церковь которого он посещал, будучи уже в болезни, в период кровавого плача).

Вернулся священник ближе к ночи. Почти сразу лёг спать, не поужинав, и погрузился в липкую дрему.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Наводнение

Девятнадцатого полило. Но дождь никого и ничего не мог спасти. Пастбища стояли вытопанные и выжженные до состояния сухой корки, посева зачали, животные, истощённые донельзя, шли под нож, дабы не пропало хотя бы мясо (впрочем, проку было мало – запасы, сделанные с начала сезона, от небывалой жары давно протухли, того же, что удавалось получить теперь, едва хватало, потому что никакой почти плоти на костях не имелось) – ничего из этого, разумеется, дождь не мог вернуть к жизни. Тем не менее, утром ему радовались – по крайней мере, он принёс свежесть, принёс облегчение и привкус надежды – как полагается, ибо есть что-то такое в начале дождей, умиротворяющее. Оттого в селении царило еле сдерживаемое ликование – совершенно необоснованно, но пусть, пусть...

Да в самом деле, поглядев со стороны, можно было обмануться, будто местность возвращается к жизни!

Коледи, рытвины на дорогах сгладились и размылись, старые колодцы вновь наполнились водой, и к ним тут же ринулись жадные, исхудалые звери со всей округи – уцелевший домашний скот, бродячие собаки, даже обитатели леса. Правда, в ту пору у водооя загрызли двух телят, так что хозяева стали запирать скотину и за водой отправлялись сами – благо, случаев нападения на людей не наблюдалось.

Один местный принялся на радостях утверждать, мол, видел лосей вниз по реке, хотя, кажется, никаких лосей в здешних местах давно уже не водилось – их распугали ещё во время закладки города. Рассказчик, таким образом, наверняка врал, но ему охотно верили – во-первых, жители падки были на подобные небылицы, во-вторых, возвращение животных, которых считали исчезнувшими, в сознании многих означало добрый знак, нечто вроде возвращения прошлого, когда никто не знал ни бед, ни голода. Увы, больше никаких знаков никто не видел, да и прошлое в действительности вовсе не было таким радужным, как его теперь, по прошествии лет, расписывали – область эта вообще всегда отличалась скудностью пропитания и враждебностью к человеку.

Раны и ямы на земле затягивались, наполнялись живительной влагой. Земля впитывала немо, немощно, но благодарно. Повсеместно образовывались хлипкие ручейки, журчанием своим возвещающие о жизни, призывающие к ней, или целые потоки грязно-бурой жидкости (эти надрывно шумели, демонстрировали свою мощь, ломая порою деревья, желая всё вокруг вывернуть наизнанку), и все они устремлялись к реке, обрушивались в неё, сглаживая рваную, искусанную кромку берега. В иных местах почву размыло до основания, так что обнажилась каменная порода.

Лилось и плескалось, воздух стоял разряженный, прохладный. Пахло железом, пахло польнёю да чем-то ещё, сладковатым, гнилостным – вероятно, такой запах источали деревянные постройки.

Однако днём земля насытилась, но ливень только усилился. Стало ясно, что добром это не кончится, и постепенно, в течение дня, всеобщая радость сменилась сначала отчаянием, затем, как прежде, покорным отупением, какое нередко случается с людьми во время затяжных дождей.

Уровень воды в реке поднялся выше положенного сразу после полудня. Противоположный берег, низкий и пологий, тут же затопило. Здешнему же селению тогда ещё ничего не угрожало, ибо оно находилось на небольшом возвышении, вследствие чего береговая линия представляла из себя довольно крутой каменный обрыв. Кое-где, впрочем, эта оборонительная линия прерывалась, уступая место вздыбленным низинам – на таких низинах устраивали обычно пляж либо раскладывали лодки и рыболовные снасти для просушки. При повышении уровня все они были залиты водой, вероломно разорены – лодки и снасти волнами унесло прочь, вниз по течению.

К вечеру потоп, чрезмерно разыгравшись, разру-

шил мосты, некогда перекинутые через реку (мосты покоились на деревянных опорах, давно уже никем не отремонтированных, обветшалых, так что сломать их оказалось несложно).

Затем вода хлынула в город – берег всё же не имел достаточной высоты, чтобы сдерживать натиск стихии, – заполнила улицы по щиколотку, но, в отличие от соседних деревень, до первых этажей зданий не добралась.

Деревянный настил, коим пользовались практически во всех переулках, размок, подобно картону, начал подгнивать снизу и в течение последующей недели превратился в совершенное месиво, так что пройти из одного конца города в другой стало крайне затруднительно, пересечь же его на колёсах – во все невозможно. Повозки и редкие автобусы оказались брошенными прямо посреди улицы – их вскоре облюбовали бродяги, не имевшие крыши над головой, как местные, жившие в близлежащих посёлках с незапамятных времён, так пришлые, согнанные ливнем на возвышенность. Бесхозный транспорт использовали главным образом для ночлега, реже – для отдыха в относительно сухом помещении, поселиться же в каком-то из автобусов постоянно никто не осмелился, ведь дождь не вечен и когда-нибудь непременно иссякнет. Тогда и хлипкое движение восстановят, и, стало быть, придётся искать иное пристанище – да, пожалуй, одни только бездомные видели для себя пользу в этих новых, насквозь мокрых условиях.

Размыло почву на кладбище, так что обнажились некоторые захоронения. Памятники и кресты почти везде накренились либо опрокинулись; однако они обладали достаточной тяжестью, чтобы их не снесло в сторону, потому особенной путаницы не возникло.

Поля обратились болотами. Вода с них не стекала в реку, не проглатывалась разбухшей землёй, а скапливалась поверх сохранившейся до сих пор растительности, ускоряя процесс гниения последней. Скоро поверх бывших полей расплодилось ряска, колонии мелких водорослей и отвратительные насекомые, из тех, что только в сырости созревают. За весь период, что шли нескончаемые дожди, несколько овец в тех местах бесследно исчезли – надо полагать, утонули. Хотя с такой же вероятностью они могли стать добычей волков или собак. Собаки в ту пору отбились от рук, сбились в стайки да принялись разорять без того нищие дворы, где забор был не слишком крепок, хозяева – не слишком прозорливы.

Как известно, сырость и голод создают самые неблагоприятные условия для людей – потому в частности, что для развития всяческих болезней они, наоборот, наиболее подходящие. Доктор со страхом ожидал очередного всплеска странной эпидемии. Всплеска не последовало, за что доктор против собственной воли благодарил некие высшие силы – те самые, в существование которых несколько не верил.

Участились случаи малокровия, два или три раза

поступали люди в голодном обмороке, были больные с дизентерией. Но с подобными вещами, в отличие от местной лихорадки, престарелый врач кое-как справлялся, даже имея в своём распоряжении скудный запас препаратов, так что смертность увеличилась не особенно.

Следует отметить ещё один факт. На фабрике, где стояла печь, не было крыши, и к концу второго дня её совершенно, до колен, затопило. Кроме того, влага нарушила работу печи и сгубила предназначавшееся для неё нехитрое топливо.

Мёртвых, таким образом, нельзя было ни сжигать, ни хоронить, ибо разве можно устраивать похороны в болоте. По совету старейшин тела укладывали в непромокающие мешки из парусины и оставляли внутри фабрики, в пристрое, до тех пор, пока не появится возможность от них избавиться, предав либо земле, либо огню.

Сами старейшины, хотя в связи с бедствием их влияние заметно возросло, страдали не меньше остальных. Из-за протекающей крыши долгое время им приходилось ютиться на первом этаже, в зале для собраний. В течение дня принимали просителей – бедовые, глупые, спрашивали о том, как жить дальше, где раздобыть зерна, забить ли скотину или сохранить на будущий год, прочее, прочее, всё сплошь насущные вопросы; иные, дошедшие, что называется, до ручки, плакали и катались по полу, – днём их принимали, день оттого был нечто беспорядочное, отчаянное, а ночью отправлялись спать, причём укладывались на скамьях в прихожей.

А крыша протекала всё больше, в конечном счёте в ней открылась брешь да хлынуло, как из ведра, с невероятным напором, словно жидкость намеренно вкачивали внутрь дома большим насосом. Покончив с верхним ярусом, вода проникла в самый низ – яростно, неистово. О, ей непременно хотелось прогнать обитателей, изжить со свету! Дом стал протекать вдоль и поперёк.

Вскоре все шесть старцев слегли с какой-то особенной слабостью, да так один за другим умерли, не позвав ни доктора, ни Лигнина, ни священника – никого. Когда беда отступила и небо прояснилось, в доме с обвалившейся крышей обнаружили пять разбухших от влаги, растолстевших тел. Тело шестого, вероятно, водные потоки, отступая, забрали с собой в реку – так, по крайней мере, решили местные, и подобный исход вполне их устраивал.

Чуть раньше, ещё во время дождя, на третий или четвёртый день, в округе появился человек, который ходил по близлежащим селениям и раздавал еду, не требуя ровно никакой платы. С собой он всегда привозил два небольших обоза, гружёных мясом. Многих терзало любопытство, где незнакомец доставал свои угощения, если кругом царили мор, голод, недостаток, но особо расспросами не донимали. А поскольку видели его то на том, то на этом берегу – это при отсутствии-то мостов, – приписывали ему колдовскую силу.

Как выглядел благодетель, никто толком не запомнил, но всюду его узнавали, всюду радовались,

несмотря даже на то обстоятельство, что был он явно из пришлых, из чужаков то есть. В Мёртвом городище, правда, на тот момент ни разу его не встречали, хотя весть о нём распространилась по всему городу уже к выходным. Тогда же, в субботу, двадцать четвёртого июня, закончился наконец дождь, принёсший столько несчастий...

На следующий день, как и предрекал небезызвестный отец Павел, в селение прибыл епископ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Теофил. Откровения Тимофея

1.

Епископ посетил город в воскресенье утром. У западного въезда его встретила небольшая толпа, главным образом мужчины из бывших рабочих. Ничем особенно не занятые, они начали собираться ещё с ночи, дабы не пропустить столь важное событие.

Теофил прибыл в сопровождении двух служителей на дорогом автомобиле.

Несмотря на то, что дождь прекратился накануне, улицы поселения до сих пор были грязные; в иных местах всё ещё стояла вода, смешанная с разжиревшим от влаги, гнилым опилом. Машина застряла в первой же яме, словно сам дух города не желал пропускать ничего чужеродного, не желал впитывать паров и ядов, без того в избытке источаемых терракотом, противился тому, чтобы это неуклюжее, противоестественное создание на четырёх колесах тревожило землю и воздух.

Пришлось ссаживаться.

Епископ натянул на ноги высокие непромокаемые сапоги, соответствующие погоде, закутался в плащ и пешком отправился к здешней церкви. Двое служителей, прибывших вместе с ним, разделились – один сопровождал его на протяжении всего пути, прихватив с собою два чемодана, второй остался. Разделилась и толпа – одни принялись рассматривать автомобиль, особо желая заглянуть в салон и пообщаться тем самым к частной жизни епископства, другие, большинство, преследовали архиерея.

Теофил был довольно полный (но не тучный), высокий человек. Двигался медленно, не потому, что ускорить шаг не позволяло слишком тяжёлое чувство собственного достоинства, а скорее от усталости. Внешностью на первый взгляд обладал приятной. Только под глазами растеклись, набухли тёмные водянистые пятна, выдававшие некую болезнь, да губы были чрезвычайно тонкие, льстивые, и слишком алые, так что напоминали порез. Глаза были тёмные, глубокие, подолгу задерживались на лицах и предметах и глядели внимательно, но, пожалуй, колюче, с оттенком неприязненности; при этом едва заметная улыбка, не сходявшая с отвратительных губ, выражала, как бы это ни звучало парадоксально, доброжелательность.

Именно это яркое, явное противоречие между верхней частью лица и нижней повергало в замешательство всякого наблюдателя, ибо верхняя часть демонстрировала высокомерие да холодный рассудок, нижняя же – одновременно лживость и добродетельность.

Местные, впрочем, были в восторге – фигура приехавшего неизменно ассоциировалась с твёрдой волей, непреклонностью, властью, а людям, по большому счету, только общее впечатление и требуется.

Сопровождавшую его толпу епископ приветствовал сдержанным благословением.

Впереди процессии следовал молчаливый служитель с чемоданами, который, казалось, тщетно пытался ногами расчистить дорогу перед обладателем высокого сана. Затем сам обладатель, заложив руки за спину, и длинная вереница разношёрстного народа. Замыкали колонну дети, сбившиеся в кучу и примкнувшие примерно на середине пути, из любопытства.

Совершенно, однако, неясно, с какой целью собрались все эти люди, ведь зрелище, предназначенное для них, ожидалось впоследствии, в течение дня – служба и проповедь. Жители, встречавшие епископа и тянувшиеся теперь за ним длинной вереницей, сами понимали неуместность своих действий, потому недоумённо молчали, словно их погоняло только нажитое с годами животное упрямство, да постепенно отрывались от общей массы, так что к тому времени, когда достигли наконец обители отца Тимофея (весь город можно было пересечь за полчаса; по бездорожью вышло немного дольше), толпа рассосалась, подобно зажившему воспалению. Остались лишь четверо или пятеро отчаявшихся провожатых, на значительном друг от друга расстоянии – эти как будто чего-то ждали, а теперь испытывали разочарование. Вполне возможно, втайне они надеялись стать свидетелями небывалого чуда или небывалой же милости – только для них, для тех, кто дошёл до конца.

Но Теофил рассеянно поглядел на них и скрылся за воротами церкви. Провожатые же остались стоять, молча и потупившись, не представляя больше, что им здесь понадобилось. Глядя на них, можно было подумать, что между мыслью и действием, мыслью и осязанием в их сознании построена непреодолимая преграда, что нет никакой связи между их пустыми глазами, которые смотрят на мир, не видя, и разумом, который извивается, изощрается в нагуженных попытках понять этот мир, не находя пути к нему; что, наконец, душевные побуждения их и тела обитают изолированно, вовсе не соприкасаясь, вследствие чего душа мечется в потупленном взгляде, бьётся о внутреннюю поверхность хрусталика, словно о стекло, не находя выражения, не в силах до самой себя достучаться, а тело не знает, что делать, и вообще не ведаёт, что творит. О, это были те, кто совсем помешался от отчаяния, уставшие жить в атмосфере немого, липкого страха, постоянно, каждый миг своего существования осознавая

собственную смертность, конечность, натываясь на прямые доказательства отсутствия хоть какой-то, пусть хлипенькой, невзрачной, вечности...

Да, это были те, кто помешался. Вскоре они всё-таки разошлись, так ничего не поняв и не дождавшись.

Храм вздыбился мрачной, бесформенной глыбой. У Теофила возникло крайне неприятное чувство, будто всё здесь отторгает его, будто он вступил на вражескую территорию. Земля за воротами была суше, чем в городе, и практически везде замощена булыжником, неровно, но достаточно аккуратно. К крыльцу тянулась просторная тропа; епископ принёс на эту тропу грязь. Она комьями осыпалась с сапог, размазывалась при ходьбе омерзительными, жирными полосами – ничего нельзя было поделать, но почему-то данное обстоятельство ужасно раздражало!

Слепые оконца уставились на епископа презрительно, сквозь них наружу просачивались тени и пыль – на солнце тени чернели, принимая неприступный вид, а пыль едва заметно мерцала, увитая потоками света.

Всё вокруг было ветхое, нелюдимое, словно само место чуралось человека. Глядя на такое нагромождение, возможно поверить даже в существование бесов, ибо известно, что бесы в таких именно местах находят себе кров и убежище.

У входа в храм Теофил остановился в нерешительности. В то же самое мгновение дверь отворилась и на пороге предстал сгорбленный, смиренный отец Тимофей. Он часто моргал, щурился, стараясь защитить глаза от настёрного солнца.

– Рад видеть Вас, Ваше преосвященство, – произнёс священник почтительно, нараспев, и распахнул дверь шире, давая архиерею возможность войти.

2.

Многим, близко знавшим епископа Теофила, он представлялся малоприятным, лицемерным человеком. Действительно, за свою жизнь Теофил сказал множество лживых слов, нередко говорил одно, а делал не только другое, но даже вовсе прямо противоположное. Кроме того, прекрасно владел искусством притворства и высоко ценил власть. Однако вместе с тем он обладал также и положительными качествами. При всей своей лживости, к примеру, не позволял себе лишнего в делах собственного обогащения, более того – вопросы собственной обеспеченности волновали его лишь постольку-поскольку, время от времени, в качестве развлечения. Зато он с усердием, доходящим едва ли не до степени фанатизма, заботился о процветании и обогащении Церкви, и уж тут-то не гнушался никакими средствами и способами.

Епископ был довольно требователен, порою жесток по отношению к нижестоящим, раболепен в отношении вышестоящих, но опять же в меру, ибо чувство меры, столь необходимое, являлось в нём

одним из наиболее развитых. К тому же этот человек имел стройную, строгую систему взглядов. Его до крайности волновало единство, сплочённость епархии, руководящая роль церковного института в жизни каждого. С целью воплощения своего идеала периодически он совершал поездки, во время которых умирал, устрашал, проповедовал, посещая даже самые отдалённые, самые убогие селения. Если угодно, Теофил был всецело подчинен некоей идее, идее служения, а известно, что идея подчас облагораживает создания последние, отвратительные – притом, что епископ таковым наверняка не являлся.

Он относился к разряду людей, кто научились свои негативные, низкие черты и побуждения использовать на благо того дела, которому преданы; причём, в отличие от многих других, в нём не возникало никакого противоборства, ибо всё – как светлое, так тёмное, – что существовало в его душе, служило сообща одной цели, дополняя друг друга.

Если Теофил и производил на кого-то неприятное впечатление, в особенности противоестественным лицом, то в это же самое время многие отмечали, что никогда ни до, ни после него епархия так не процветала в плане религиозного рвения и притока денежных средств.

К слову, лицо епископа, кроме прочего, выражало мудрость и абсолютное спокойствие, а также железную волю, и не было никакого противоречия между верхней частью, заключавшей ум и надменность, и нижней – лживой, льстивой, притворно-добродетельной, а пожалуй, по-настоящему добродетельной. Ибо известны случаи, когда лживость и доброта сочетаются в одном человеке, так почему бы им не сочетаться в одной улыбке?

По большому счету, никакая чёрточка этого удивительного лица не врал, а говорила о своём носителе исключительно правду.

Теофил на самом деле был весьма мудр, в частности что касается разговоров, методов управления, подчинения, манипулирования, обладал богатым жизненным опытом и тонким чутьём. Он вполне доброжелательно относился к людям – к прихожанам, священникам, старостам, певчим, иным служителям, – так как все они являлись неотъемлемой частью той системы, ради неумолимого функционирования коей епископ трудился, не покладая рук. Эта доброжелательность, впрочем, нисколько не мешала смотреть на людей свысока, и в определённой мере совершенно оправданно, ибо он имел возможность и умел управлять их душами, они же его душой – нет, а подчас и своей не умели.

Как уже говорилось ранее, Теофил умел быть и покладистым, и подобострастным, и мягким – в подобных перевоплощениях помогала природная способность к притворству, за годы жизни развивая до уровня мастерства. Однако же способность эту епископ использовал исключительно на благо системы – привлечь прихожан, укрепить связи с соседними епархиями, с митрополитом (место которого он вполне мог бы занять по истечении семи-восьми лет), обеспечить приток финансов либо ценного

имущества – иными словами, разыгрывал из себя невестку что охотно, но лишь в случае надобности.

Надобность же возникала часто, потому что – так уж вышло – Теофилу пришлось по душе лишь немногое из Писания, насчёт остального он испытывал либо неуверенность, либо безразличие, причём с гораздо большей вероятностью второе, нежели первое. Его прельщала сама идея Бога, идея органа, надзирающего над духом – чего-то сильного да единого. Отыскав прочный союз надзирательства, идеи Бога и абстрактного духа в Церкви, он решил посвятить себя ей.

Узнав об общем упадке, распутстве, унынии, царивших в здешних краях, епископ, разумеется, не мог не появиться, ведь, несмотря на лёгкое и в целом простительное пренебрежение, действительно дорожил каждым прихожанином – только в качестве единицы, впрочем. Теперь Теофил намеревался посредством проповеди призвать распустившийся, оголодавший народ к смирению и покорности, дабы «уповали на волю божью». Также возникла необходимость выяснить, каковы способности местного священника, отца Тимофея, к службе, справляется ли он и не обезумел ли, не оступись.

Поскольку никто ничего толком не знал о природе лихорадки, свирепствующей в Мёртвом Городище, она вполне могла оказаться заразной и даже наверняка таковой являлась.

Однако епископ был уверен в том, что для подобных вещей недосыгаем. Он полагал, будто до тех пор, пока совершает дела, угодные церкви и, как следствие, Богу (а это было для него вне всякого сомнения) – никакие напасти, никакие болезни ему не смогут повредить, все беды пронесутся мимо, не задев, нисколько не потревожив.

К чести Теофила, даже если бы он не был столь слепо уверен в своей неуязвимости и отдавал себе отчёт в том, что рискует слечь с лихорадкой, терзаемый видениями, слечь навсегда – он, вероятно, всё равно бы посетил город, ибо делу своему был предан, нисколько в нём не сомневаясь.

Эта преданность избавляла от многих сомнений и душевных мук, свойственных прочим. Сущность служения, таким образом, в понимании епископа отличалась крайней простотой. Он считал, что все средства хороши, если цель достаточно высока, а по собственному же разумению, цель, достижение коей составляло предмет его желаний, была самая что ни на есть высокая.

3.

– Ваше преосвященство, я очень рад, что Вы наконец решили нас посетить. Всё здесь в связи с последними событиями оказалось вывернутым наизнанку, и... в конечном счёте, нам всем необходим духовный наставник, – Тимофей говорил сбивчиво, явно нервничая – то ли желал что-то скрыть, то ли робел перед высокопоставленным гостем, ибо его нечасто посещали.

Они расположились в убогой келье престарелого священника; архиерей даже мрачную эту, грязноватую комнатёнку не побрезговал посетить, наоборот, настаивал именно на том, чтобы беседа непременно протекала в стенах скромного обиталища хозяина. В целом же диалог и вся сцена едва ли напоминали официальный прием – ни положенной торжественности, ни высоких речей не было. Скорее в тёмной обители происходил весьма интимный, не предназначенный для посторонних слушателей разговор – в пользу этого предположения указывало также то обстоятельство, что сопровождавший архиерея служитель, повинувшись некому едва заметному жесту, предпочёл остаться у иконостаса, в средней части храма.

Теофил устроился на стуле, поближе к заколоченному оконцу, сквозь которое всё же пробивались редкие, желтоватые лучи света. Сидел до неестественности прямо, совсем чуть-чуть касаясь спинки, руки, сцепленные в замок, положил на сомкнутые колени да постоянно пытался заглянуть собеседнику в лицо вьедливыми своими, ничего не упускавшими глазами, будто ему требовалось вобрать в себя всякую чёрточку, каждое почти неуловимое подёргивание этого чужого лица, уловить мимолётные смены настроения – такой взгляд, чересчур жадный до окружающего, обезличивает и даже как бы касается всего, что попадает в поле зрения. Стараясь по возможности скрыться от подобных посягательств, а, быть может, просто по привычке, отец Тимофей расположился в самом тёмном углу, на жёсткой койке – сидел на краешке, сгорбившись. На гостя совершенно не глядел – то как бы невольно отворачивался в сторону, то вовсе опускал голову и принимался упрямо рассматривать пол под ногами. Однако вся эта игра, все её многозначительные подробности сами по себе говорили о стремлении что-то утаить, и епископ, при своей наблюдательности, не мог не обратить внимания на подобного рода уловки.

– Отец Тимофей, – порез, бывший у епископа вместо рта, раскрылся, задвигался, вместо крови (а Тимофею представлялось, будто непременно польётся кровь) из него хлынули слова, вернее, не хлынули, а вывалились, жёсткие, низкие по звучанию, слегка глуховатые, – Вы только что сказали, что всем вам необходим наставник. Однако мне известно, что вы не слишком часто встречаетесь с людьми и, следовательно, не можете судить об их потребностях. Не станете же Вы, в самом деле, утверждать, что наставление необходимо всем здешним жителям, учитывая, что Вы, кажется, больше половины-то и не знаете. Не означает ли это, что наставник требуется именно Вам, преподобие?

Тимофей поднял на миг голову, поглядел на епископа затравленно, даже заискивающе, а вместе с тем с каким-то предостережением, но, спохватившись, тут же вновь устался в пол.

– Возможно, – свой ответ он сопроводил частыми, по-старчески нетвёрдыми кивками. – Возможно.

– Скажите, давно ли Вы исповедовались?

– Недавно, – сказал священник, имея ввиду своё посещение церкви отца Павла. Впрочем, он тогда лишь намеревался совершить таинство исповеди, однако намерения не исполнил.

– Позвольте же узнать, кто являлся вашим духовником на момент исповеди?

– Его преподобие отец Павел. Он живёт в соседнем поселении, несколько ближе к Городу. Я посетил его несколько дней назад. Увы, ему не удалось успокоить меня.

– Вы посещали его в церкви, где он ведёт службы?

– Да, Ваше преосвященство.

– Не та ли это церковь, где прихожане наблюдали чудо кровоточивой иконы?

– Та самая и есть, Ваше преосвященство.

– Вы видели икону? Каково ваше впечатление?

– Ну что ж, я могу ответить, хотя – прошу меня простить – передвижу некоторые сомнения с вашей стороны. Мне не слишком легко восстановить тогдашние свои ощущения, довольно, кстати, сумбурные и неясные – одним словом, вид иконы поверг меня в замешательство. Я не смел допустить мысли, что передо мной нечто, не являющееся чудом, творением Бога, и тем сложнее было признать, что эта икона... она отвратительна!

– Вы полагаете? – с насмешкой, чуть наклонившись вперёд, дабы внимательней следить за собеседником.

– От неё словно исходил запах тления! Запах разложения и смерти! Она – простите меня – совершенно бесстыдно, нахально смердит мёртвой плотью, сам вид её как будто возводит эту самую плоть на место религиозного идеала.

– Хотите сказать, она лишена духа?

– Безусловно! Напрочь! Лишена всяческого духа, даже духа языческого, но заполнена кровью, и кровь гниёт, вьедается в изображение Спасителя, пожирает лик Его, застилает глаза...

– В таком случае, ответьте мне ещё на один вопрос. Не считаете ли вы, что чудо, произошедшее в той церкви, есть чудовищная подделка?

– Мне об этом ничего не известно, – вновь солгал Тимофей и, разумеется, ложь была тут же обнаружена – едва заметное дрожание губ и скошенные глаза выдали её. Хотя обличать священника епископ не стал. Только криво улыбнулся и решил сменить тему разговора:

– Вы упоминали, что вам необходим наставник, отец Тимофей, и что до сих пор никто не сумел вас успокоить. Могу ли я узнать, что вас гложет?

– Многое, Ваше преосвященство. Здешняя атмосфера, видите ли, крайне располагает к унынию и размышлению. Правда, лучше всего было бы разъяснить всё по порядку, и, если вы не возражаете, я так и сделаю.

Когда пять лет тому назад сюда прибыли новые люди, не почитавшие ни этой земли, ни её обычаев, ни храма, на восстановление которого ушло столько лет, во мне как будто надломилась основа, тот душевный хребет, к которому прикрепляются все наши недолговечные чувства, мнения, желания. Я заперся

в своей келье и ждал, уповая на Бога – ждал возмездия. Надеялся, что некая величайшая сила, перед которой люди ничего из себя не представляют, совершит отмщение за мои страдания, за страдания местных отшельников, живших здесь задолго до прихода разрушителей. Я возомнил себя Давидом, в отчаянии, а порою в безумии своём воспевал псалмы Господу, мысленно или во всё горло крича «Да обратятся нечестивые в ад!» [11]

«Восстань, Господи! – восклицал я в немом исступлении, в забытии, – да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим!» Затем, потеряв всякую надежду, ползал я на коленях перед иконами, заглядывая тайком в каждый изображённый лик, дабы увидеть, отвечают ли они мне, слышат ли. Мне казалось порою, будто на той или иной иконе сменилось выражение лица, скосился глаз, расплылась улыбка – за эти дерзкие, непозволительные подглядывания, видно, у меня и отобрали зрение, оставив лишь самую малость. Ныне я не ропщу, наказание моё заслуженно. Тогда же, заглядывая в безответные лики, я молил: «Призри, услышь меня, Господи Боже мой! Просвети очи мои... доколе будешь скрывать лице твоё от меня?» Я обезумел, Ваше преосвященство, и оттого осиротел. Но ведь то было крушение основ, крушение самого бытия, по крайней мере в моём представлении, святотатство, грехопадение, ибо на святой земле, на месте прежней монашеской пустоши, учинили разгром да принялись выкорчёвывать, выворачивать землю в поисках наживы! Шум стоял такой, словно адские механизмы перемальвали кости всем грешникам, бывшим в мире! А земля горестно пела, стонала, и я стонал вместе с ней! Мне казалось, будто они прорезают шурфы не по линии берега, а прямо у меня внутри, проводя сверло сквозь сердце и желудок! В каждом я стал видеть беса, и почти каждого проклинал.

Но вскоре исступление прошло, ведь душа, подобно также физическому телу, не может страдать вечно. Исступление прошло, охладел пыл, да вот только бесы остались – иной раз я видел их пляшущими под потолком! Окропил все углы святой водой, однако они, насмехаясь над нашими обычаями, стали являться чаще. Знали бы вы, сколь отвратительно выглядели их пляски! Порою они будили меня среди ночи, чтобы посмеяться прямо в лицо, да тут же испариться. Сомнения одолевали меня...

- Затем бесы ушли, верно?

- Нет, Ваше преосвященство. Я открыл, что никакой бес вообще не может уйти. Впрочем, об этом позже. Однако же под бременем своего чудовищного открытия, о котором пока вынужден умолчать, я совершенно охладел в вере. Ко мне пришли сначала панический страх, затем чувство безысходности, наконец – безразличие, потому как я понял тогда, что умру. То есть совсем, понимаете, окончательно! Бесчинства здешних рабочих после того, как закрыли фабрику, ещё больше распатали слабую мою, жалкую веру – мою душу, если угодно.

А потом нагрянуло то, чего я в неведении своём так

жадно, задыхаясь, просил – возмездие. Лихорадка, – при этом слове Тимофея самого залихорадило. – Умерло, знаете ли, очень много людей. Во всю весну почти, начиная с апреля, умирали по трое или по четверо за день в иные разы. Во всём, совершенно во всём я винил себя – о, опять-таки по неведению, по неразумению своему! Разве знал я тогда...

Теперь улеглось, но заболевших всё же много, поэтому многие до сих пор умирают. За время дождей в пристрой фабрики – на берегу, недостроенная, её переоборудовали в качестве крематория – положили пять трупов, да шестой, если верить слухам (а им следует порою верить, Ваше-ство), унесло в реку, вниз по течению. Хаос, здесь возникший, всеобщее разложение вызвали во всех страшный цинизм, пренебрежение ко всему человеческому, ко всему божественному – и во мне. Во мне! Почему я и выразил недавно мнение, вполне закономерное, что всем нам необходим наставник.

Раньше мы не сталкивались здесь со смертью, – перевёл дыхание. – Даже старики умирали нечасто. Раз в полтора, а то и два года случались похороны, ибо всё же у многих старожилов подошёл такой возраст, когда умирают один за другим. Похороны всякий раз происходили с должным трепетом, почтением, потому как символизировали столкновение с чем-то сакральным, сокрытым от глаз простых людей, исключительным – отделение души от плоти, освобождение души. Теперь же сталкиваются со смертью во всякий почти день, и нет более никакого почитания – смерть, как можно заключить из происходящего, обрела иное лицо, лишившись маски торжественности – лицо истинное, земное. Из высшего начала, из сферы духовного она была низвержена в пропасть гниения, окисления и прочих материальных вещей. Почему? Да как же, ведь это неприкрытое, неосвящённое гниение происходит практически на глазах всего города! Люди ведь – знаете, как – в подобных условиях любят поглазеть да в итоге привыкают к гнили и пакости, да вот ещё к страху привыкают. Нельзя говорить с человеком о вознесении после смерти, коли он постоянно перед собой видит мёртвые тела, и всё его внимание невольно, в силу обычного человеческого малодушия, к ним одним приковано – это давно известный факт.

Нет, смерть вдруг сделалась уродливой, безобразной, телесной до тошноты. Влаги и жара тому прежде всего способствуют – от них тело начинает разлагаться преждевременно, так что положенного срока, для почтительности то есть, выдержать никак нельзя. Да что говорить, коли в случае здешней лихорадки процесс распада неумолимо поглощает туловище ещё при жизни, пока теплится.

В самом начале, к примеру, весной, сюда принесли покойницу, отпевать, на третьи сутки, согласно обычаю, но, простите за откровенность, смрад оказался настолько нестерпимым, что никакой возможности провести службу не представилось. Пришлось вынести на улицу – да и там, впрочем, не лучше было, особенно в тот период, когда о дожде никто даже не помышлял, даже надеяться не смел.

С тех самых пор прекратилось всякое отпевание умерших в церкви – оно, правда, само собой как-то вышло...

А люди, знаете ли, привыкают к смерти, привыкают к мыслям о ней, к её настойчивому дыханию – да и как избежать этого, если она удушливо подбирается к каждому, сжимаясь вокруг тела плотным кольцом. Так... к чему же мы привыкаем тут? К уродству и мерзости, вот! Это делает разочарование и безразличие совершенно окончательным, необратимым, если угодно. Иные от отчаяния говорить перестают и всякое понимание теряют. Поглядите! – отец Тимофей жестом пригласил епископа прислониться к окну и сквозь узенькую щёлочку между досок посмотреть наружу; епископ повинувшись и обнаружил не без удивления, что сопровождавшие его «глухонемые» просители по-прежнему стоят на своих местах – приглядевшись, он всё же заметил, что двое успели на несколько шагов отойти в сторону, одного же вовсе не досчитался – вероятно, ушёл, или вовсе никогда не было, ибо архиерей не мог вспомнить, сколько же человек остались дожидаться его у ворот – четверо или пятеро.

– Поглядите! – продолжал между тем священник. – Вот они, исполнены тоской да безотчетным ожиданием, а внутри у них – зияющая пустота!

К тому же, никто почти не рождается уже лет пять подряд, да и никогда, пожалуй, тут не рожали, а приехали сразу целыми семьями, с детьми, большими и маленькими – вон, и дети-то самые младшие по улице ошиваются лет восьми-девяти, а младше нет никого. Была девочка шести лет, кажется, да умерла недавно. Так вот она-то и была самая младшая из здешней детворы. Никто, как я говорил только что, не рождается, только умирают, а население в городе без того небольшое – больше, положим, чем в соседних деревеньках, но всё же... было что-то около восьмиста человек, а ныне сократилось почти на четверть. Кое-кто, конечно, уехал, а многие отошли в мир иной, мучимые жаждой, видениями, болями, от истощения либо удушья – шейные судороги, знаете ли, горло перехватывают...

Это ли меня гложет? Отчасти, верно.

В комнатке ненадолго установилась тишина – слышно было только едва различимое дребезжание воздуха, от речи священника, которая периодически накалялась и потому звучала преимущественно на повышенных тонах.

Епископ стоял у окна и долго не оборачивался (сумасшедшие на улице успели разойтись), стараясь из чувства такта побороть всегдашнюю улыбку, ставшую чем-то вроде непроходящей гримасы или, вернее, неснимаемой маски. Наконец ему это вполне удалось, щёки разгладились, впали, приобретя скорбный и благообразный вид. Епископ обернулся.

– Признаться честно, – произнёс он нараспев против обыкновения, – не думал, что всё именно так обстоит. А что же старейшины? Разве они не могут выписать необходимые медикаменты?

– Ох, кабы знать, какие тут медикаменты нужны,

– почти простонал истощённый долгой речью Тимофей и добавил чуть более сдержанно. – Об этом, однако же, вам следует поговорить с местным врачом. Хотя все прошения старейшин были проигнорированы столичными властями – необходимо-де финансирование. К слову, раз уж вам ничего неизвестно, из старейшин никого в живых не осталось. Дом же, где они устраивали заседания Совета, наводнением полностью разрушило.

– Они что же, тоже... от лихорадки?

– Неизвестно. Это всё темные материи, Ваше-ство.

– Похороны уже состоялись?

– Пока нет, Ваше-ство. Назначены на завтрашний день, но загадывать смысла нет – мало ли что может случиться. Да и похорон никаких, в обычном смысле слова, не предполагается. Их сожгут.

– Разве можно?

– Таково предписание врача. Кроме того, на кладбище больше нет места, ибо оно настолько разрослось, что теперь на его территории, среди могил, даже дома заброшенные стоят. Вот так – люди из этих домов умерли и перекочевали в собственные дворы.

Пауза.

Она продлилась ровно столько, сколько времени понадобилось Теофилу, чтобы пересечь келейку от окна до двери и обратно и вернуться на прежнее своё место – на стул то есть.

– Я позволю себе немного отвлечься, – сказал архиерей. – Ведь у вас со здоровьем, насколько мне известно (да вы и сами говорили что-то о зрении), тоже возникли некоторые проблемы? Вам, вероятно, тяжело здесь управляться одному. Простите за грубость, но у вас слишком плохое зрение, а иные поговаривают, вы слепы, так что я даже не могу определить, видите вы меня теперь или не видите.

– Я вас вижу, Ваше-ство. Мне не тяжело. Я привык, я ко всему привык, – в голосе отчётливо слышалось странное сожаление, словно привычка нисколько не радовала священника. – Мне известна здесь каждая вещь, каждый уголок, каждое, – тихо-нечко захихикал, – укромное местечко.

Отец Тимофей поднялся на ноги, подошел к стене, прикоснулся к ней ладонью, несколько раз любовно провёл сверху вниз, поглаживая. Затем рука его замерла, да так и осталась на некоторое время прижатой к стене, как будто прилипла.

– Я и на ощупь смогу передвигаться в этих стенах. Но до этого не дойдёт... не дойдёт... нет.

– А зачем же вы заколотили окна?

– Увы, мои глаза не могут слишком долго выносить дневной свет, – третья ложь за день, гораздо, однако же, более искусно исполненная.

– В таком случае я не смею осуждать вас. Тем не менее могли ограничиться только оконцем в вашей келье – не следовало заколачивать все окна, это ведь храм Божий, в нём должен быть свет. Потому задам ещё один вопрос: уж не от одиночества ли вы заколотили окна, не от страха ли?

– Нет, Ваше-ство, я защищал глаза от назойливого света. Хотя здесь и вправду одиноко. Но не слишком.

Человек, знаете ли, всегда почти одинок, просто в старости подобное положение вещей делается... более выпуклым, что ли, бросается в глаза – остаёшься один на один с собою же, и отчаянно пытаешься найти оправдание собственной жизни, потому как пока нет оправдания – нет никакой вечности, – священник спохватился было, что поведал чрезмерно много, но тут же, в ответ собственным мыслям, молча махнул свободной рукой (одна рука всё ещё упиралась в стенку).

– Оправдание? – удивился Теофил. – Разве служение Богу не является таковым?

– Вероятно, нет, Ваше-ство, ведь – простите мои слова – я не знаю, служу ли я Господу или же нет, и все мои действия в этом смысле давно потеряли всякую цель. Я молюсь, усердно молюсь – но я так слаб, и веры моей почти не осталось, как бы ни цеплялся за её останки. Помогите же мне, Архипастырь!

– Скажите мне, отец Тимофей, познав Бога, для чего вам опять возвращаться к немощным и бедным вещественным началам? Для чего поработать себя ими, ударяться в «пустые мудрствования»? [12]

– Видите ли, Ваше-ство, я, вероятно, принадлежу к маловерным, и приближение смерти, то, насколько она отвратительна, расшатало меня, выбило из колеи. Мир вокруг всё больше впадает в самоудовлетворение (о, едва ли вы понимаете, о чём я!), а я гляжу со стороны, не в силах ни сподобиться миру, ни возжелать Бога. Я из тех, кто всегда учатся и никогда не могут дойти до познания истины [13]. Меня одолевают невозможные, невообразимые сомнения, так что их даже выразить совестно.

– Так что же вас гложет, кроме смерти?

– Ныне, Ваше-ство, бесчисленное множество самых мерзейших дел совершается прямо в стенах храмов, к тому же обладателями определённых санов, священниками, диаконами или... архиереями, Ваше-ство – порою, знаете ли, и чудеса пытаются подделать, и так грубо выходит! Это ли не доказательство того, что мы оступились? Что, если церковь наша и есть те, кто в Судный день приступят к Спасителю со словами: «Господи, не от Твоего ли имени пророчествовали?» и кому Он ответит, как предрекал: «Не знаю вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие!» Не делаем ли мы беззакония? Так я спрашиваю себя, и пока я не знаю ответа, не могу также знать, служу ли Богу или служу вещественным началам, следовательно, не могу найти оправдания и, значит, вечности нет. Так не делаем ли мы беззакония, Ваше-ство?

– Мы также способны ошибаться, как все прочие. Но в любом случае, отец Тимофей, наша неправда открывает правду Божью.

– И вы твёрдо в этом убеждены?

– Совершенно. Но мне пора готовиться к проповеди. Вы будете сопровождать меня?

– Простите, Ваше-ство, я, кажется, слишком плохо себя чувствую.

Теофил направился было к выходу, но у самой двери вдруг остановился и спросил как бы невзначай, словно теперь только вспомнил:

– Отец Тимофей, вы говорили, будто совершили некое открытие, пошатнувшее вашу твёрдость духа? Не объясните ли, что именно вам открылось?

– Пожалуй. Вы задумывались когда-нибудь, что может быть общего у света с тьмой?

– Бог есть свет, – процитировал епископ, – и нет в нём никакой тьмы.

– И однако же нечто общее всё же имеется. Помните, я говорил, что никакой бес в принципе не может ни уйти самовольно, ни быть изгнанным.

– Примерно так, хотя налицо явное противоречие, ибо есть множество примеров весьма успешного изгнания бесов.

– Усмирения, Ваше-ство, не изгнания. Бес не может уйти, ибо он – неотъемлемая часть меня. Тот бес, что донимал меня – я сам и есть! А значит, чтобы служить Богу и не ходить во тьме, мне необходимо бороться с самим собою – этого я не могу.

– Отчего же?

– Ведь я должен преодолеть в себе человека. Как же я могу? В человеке слишком много всего понамешано, и многое от Бога, и многое же от дьявола. И всё это подчас переплетается в такие причудливые, такие своеобразные формы, отливают различными оттенками, имеет различные запахи (вы знаете, что душа пахнет?), от запаха травы до гнилостного (что, в сущности, одно и то же), от сладости до омерзительной вони серы.

Да, слишком много всего понамешано в человеке – не я это открыл – но это безумно интересно! – в исступлении, в беспамятстве, вдруг нападшем, говорил Тимофей, словно был одержим. – Это удивительно, а разрежь, разбей на кусочки – получишь калеку. Могу ли я себя разрезать, Ваше-ство? Дозволите ли Вы?

Человек – единственное живое существо, которое – в безумии говорю, Ваше-ство! – украшает служение и Богу, и мамоне! Ибо разве не в том заключается свобода воли?

Единственное существо, заслужившее неукротимую любовь как ангелов, так бесов – то есть, в конечном счете, не заслужившее любовь ни тех, ни других! А потому и те, и другие являются для того лишь, чтобы измучить, и проявляют известную степень злорадства, глядя, как мы тут корчимся!

Дозволено ли мне нарушать что-то в этом шатком, призрачном равновесии? Что, если в нём весь смысл и заключается, а? Боже мой, я совершенно сбит с толку! Всю свою жизнь я намеревался бороться с тем злом, которое будет искушать меня снаружи, извне, исходя прежде всего от дьявола, но коли искус появляется в моей душе, в моих мыслях, имея внутреннюю природу – не я ли сам бес?

И как бороться с тем злом, которое от меня же исходит?

Тут отец Тимофей весь как-то обмяк, улыбнулся рассеянно, размазано, да без сил опустился на койку.

Именно тогда епископ совершенно уверился в непригодности местного священника. «Он безумен бо-

лее всего не потому, что говорит о столь неподобающих вещах – он безумен в первую очередь потому, что говорит о них мне!» – подумал в тот момент Теофил и решил непременно перевести сумасшедшего в наименее населённый северный приход, в пятидесяти километрах вверх по реке, предварительно лишив митры. Всё это родилось и утвердилось в голове епископа, пока он выслушивал вдохновенную тираду безумца, теперь же вышел, не сказав ни слова, не обернувшись.

Тимофей так и остался сидеть в своей тесной келье, с блуждающей, бессмысленной улыбкой и блуждающим же взглядом. Вскоре, однако, он принялся рассматривать какую-то строго определённую точку в пространстве, словно там кто-то был; улыбка сменилась сначала совершенным безразличием и даже как бы временным отупением, затем гримасой неподдельного ужаса. Глаза округлились, в них запылали искорки, выдававшие эмоциональное перенапряжение (на пределе, что называется, когда это самое перенапряжение скапливается и концентрируется исключительно в области шва, соединяющего нервные окончания, в зоне разрыва), лицо перекосилось, побледнело и застыло. В таком положении, словно восковая фигура, старый священник на некоторое время замер, после чего вдруг потерял сознания, отключился и рухнул на кровать. Надо полагать, до тех пор, пока он не опрокинулся навзничь, ему чудилось, будто в дальнем, затемнённом углу нечто или, вернее, некто висит в воздухе, наблюдает зоркими глазёнками, гримасничает, высмеивает.

Бес, вероятно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Речь

После проповеди Теофила местные жители вместо того, чтобы покаяться и предаться дальнейшему смирению (ибо вынужденному их смирению до того уже не было предела), на время совершенно осатанели. До сомнительной речи, обрушившейся с помоста, они смирились по принуждению самой жизни, в силу обстоятельств, совершенно невольно и даже как бы инстинктивно, с одной единственной целью – пережить неблагоприятное время, перетерпеть. Потому многие неблагоприятные поступки, к примеру, воровство, совершалось ими также неосознанно.

Теперь же, когда их попытались призвать к сознательному смирению, в сферу сознательного же вывели и их преступления. Это вызвало общее ожесточение, желание не покоряться (да и кто хочет признавать за собой вину). Впрочем, состояние «осатанелости» господствовало исключительно в области душевной, до реальных действий так не дошло. Возмущение же и сопротивление вылились, во-первых, в увеличении случаев заболевания, отчего статистическая кривая, выстраиваемая доктором еженедельно, резко пошла вверх, во-вторых, в особенной симпатии по отношению к странному чужаку, который раздавал пищу и которого к тому

времени в окрестных деревнях уже почитали чудотворцем.

Здесь необходимо кое-что разъяснить. Епископ в своей речи осудил действия пришедшего благодетеля, не без оснований, ведь ни церковь как таковая, ни её представители не терпят конкуренции в области влияния на души, пришедший же, намеренно или нет, это влияние оказывал. Однако осуждение лишь повысило интерес к неоднозначной фигуре. Помыслами своими люди ринулись к тому предводителю, который демонстрировал полное нежелание смиряться с чем бы то ни было. К тому же он, кажется, мог помочь и не давал пустых обещаний. Потому после проповеди разговоров в городе только и было, что о юном чудотворце – епископ, таким образом, вместо того, чтобы отвратить народ от благодетеля, добился прямо противоположного.

Кстати, несмотря на сложившуюся ситуацию, сам чудотворец в городе почему-то не появлялся, ограничиваясь случайными встречами с жителями за его пределами. Те, кому посчастливилось повстречаться с ним, непременно просили о помощи, а поскольку чужак никогда не отказывал, словно обладал безграничным источником благ земных, сумели накопить немного зерна и мяса.

Речь епископа сама по себе была хорошо выдержанной, исполнена мастерски и с религиозной точки зрения почти безупречна. Отрицательную же реакцию вызвало наверняка не содержание её, а нечто, незримо её сопровождавшее – мрачное, довлеющее надо всем вокруг, захватившее каждого жителя, не отпускавшее. Вероятно, та же едва различимая на фоне общего бедствия Тьма, что неустанно преследовала больных, истощая и приводя к печальному итогу.

Проповедь состоялась около трёх часов дня при большом скоплении народа, неподалеку от останков здания, где некогда обитали старейшины.

Теофил со своего возвышения, в качестве которого использовался небольшой помост, сколоченный заранее, благословил толпу, прочитал молитву, затем принялся говорить, сопровождая слова скупыми, но весьма выразительными жестами. Рот его при этом страшно дергался, извивался, то смыкаясь, то вновь разрываясь, и так сильно напоминал разрез по живой плоти, что близко стоявшие зрители всякий раз после очередного разрыва отворачивались, ожидая и вместе с тем опасаясь, что из этой чревоушачей раны непременно польётся кровь. Разумеется, были только бескровные слова – одни текли, подобно речному потоку, нараспев, другие вываливались жёстко и быстро, как камни. Говорил епископ примерно следующее:

– Я обладаю всей полнотой власти над богатым и бедным, над молодым и старым, над мужчиной и женщиной, над сытым и голодным! Знаю все ваши хитрости, и вы должны благодарить за это Господа! [16] Ибо я обладаю властью духовной, дабы просветлять и увещевать вас, братья и сестры! Посему, если не желаете вы впасть в погибель, пойти по пути разложения, развращения и безбожия – должны при-

слушаться, подчиниться, ибо я есть наставник ваш, назначенный Богом для того, чтобы привести вас в лоно церкви, а чрез него – в Царствие Небесное!

Берегитесь же, чтобы не прельстили вас, чтобы не усомнились вы и не стали служить иным богам! [17]

Я знаю, посевы ваши и хлеб ваш умерли, вы обречены голодать. Знаю и о том, что свирепствует среди вас лихорадка, подвергающая близких ваших страшным мучениям, приводящая к смерти, нагоняющая на вас страх. Но смеем ли мы роптать, братья, если на то воля Божья?

Ибо что до голода вашего, так разве приближает нас пища к Богу? Нет, братья, пища не приближает нас, ибо, едим ли, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем, как сказано в Писании [18].

Что же до смерти близких ваших, то лишь смерть тела видите вы, приближающую душу, запертую в тяжких оковах плоти, к Отцу нашему небесному – возрадуйтесь же за умерших! Возрадуйтесь, ибо для Бога ничто не умирает, и ничто не бывает невозможным для Него, и всё принадлежит Ему! [19]

Однако в последнее время объявилось бесчисленное множество лжепророков, и множество ересей возродилось посредством деяний их [20]. Чудесами своими и фокусами желают они купить доверие ваше, предлагая вам всевозможные благодеяния. Но не от Бога исходят эти благодеяния, а значит, не безвозмездны они и любви не исполнены. Ибо от Бога даже беды и невзгоды исполнены любви, от сынов же погибели и последователей дьявола даже благодеяние несет в себе зло и отраву, и не безвозмездно оно, но требует в качестве платы душу.

Братья и сестры, не зря именно теперь разразился голод среди вас, ибо, как вы знаете, идёт Петров пост, и вы должны неукоснительно соблюдать его, отказываясь от телесных благ. И что же? Является лжепророк, отринувший всякое смирение, всякое послушание, чем прямо на себя говорит, что служит Сатане, и даёт вам пищу, искушает вас трупами. Разве не должны вы отказываться? Разве позволительно, братья, потреблять плоть убиенных животных в период поста, когда вы, наоборот, должны сдерживаться? Можем ли мы потерпеть это?

Нет, братья, мы не можем потерпеть в наших краях человека, не исполняющего волю Божью. Ибо – говорю – если Бог наслал болезнь на скот, и скот вымер – значит, Он пожелал испытать нас. Пожелал, чтобы Церковь, проводница воли Его, воспретила честным христианам пожирать мясо, дабы во время поста не уподоблялись они зверью и усмиряли в себе телесные желания, духу нашему противные. Нечестивые же христиане пусть жрут и воруют, но отныне всякий, кто поступает так, будет неминуемо считаться согрешившим и обязан доносить о том на исповеди! Ибо плоды, принесённые чужаком, суть отравы.

Запомните же, хоть деяния его и кажутся благими, за ними непременно последует расплата!

Разве должны вас беспокоить голод и смерть, если веруете и служите Господу нашему? Разве не следует вам более заботиться о духе вашем, усмиряя тело

молитвами и воздержанием? Разве во время беды, как теперь, не следует вам склонить головы и сказать: «Уповаем на милость Твою, Господи»?

Но что же есть лжепророки, ведущие вас к погибели, пользуясь маловерием вашим и наивностью, и тем также, что плоть цените выше духа? Это те, которые подают милостыню и говорят: «мы праведны» – сами же праведности не имеют [21]. То сыны погибели – отрекитесь от них и от даров их, какими бы соблазнительными эти дары ни были, ибо милость Божья и благодать во сто крат сильнее и ценнее даров погибели!

Братья и сестры, пренебрегайте земным, пренебрегайте сытостью и довольством, но молитесь и веруйте! Довольствуйтесь малым и, имея скудное пропитание и одежду, прикрывающую тело ваше, не ропщите, ибо в смирении есть благодать!

Желающие же обогащаться впадают в искушение и во многие безрассудные и вредные похоти, ибо сребролюбие есть корень всех зол, и предавшись ему, люди сами себя подвергают многим скорбям [22]. Вы же, приехав сюда, выворачивали землю в поисках источника денег, впали во искушение, и сребролюбие поглотило вас, потому и нынешние скорби сами же на себя навлекли – покайтесь!

Покайтесь, укрепитесь в вере и отрекитесь от даров погибели! И тогда уготована вам будет милость Божья и благодать! И не будет страданий, не будет скорби, не будет стенаний, злопамятства, слёз, зависти, ненависти к братьям! Не будет несправедливости и гордыни! Не будет ни клеветы, ни обид, ни забот жизненных! Страданиям от родителей или детей, страданиям ради золота наступит конец! И смерти не будет, и ночи, но всё – сплошной день, братья! И тогда наступят светлые времена и станет **ОДНО СТАДО И ОДИН ПАСТЫРЬ!** [23]

Так завершилась речь епископа, довольно, впрочем, сумбурная и для критического ума противоречивая. Последние же слова Теофил произнес с особенным воодушевлением, ибо фраза «одно стадо и один пастырь» как нельзя лучше выражала его видение мира и его видение церкви, потому вообще всякую проповедь он именно ей завершал, вполне вероятно, из природной надменности воображая в минуту наивысшей кульминации себя – Пастырем, окружающих – стадом, причём, насколько можем судить, в значительно более грубом, низменном значении, нежели подразумевалось в многословных откровениях апостола, записанных на острове Патмос.

Люди постепенно начали расходиться, причём не в разные стороны, а поначалу в одном направлении, единым организмом, как можно дальше от места проведения проповеди – она сплотила их в их неверии. Лишь через некоторое время жители разделились, и каждый отправился домой.

У помоста остались стоять только отчаявшиеся, потерявшие всякое понимание, у которых, по мнению отца Тимофея, внутри образовалась зияющая пустота. Они стояли и глядели на Теофила, недо-

умевая и словно как бы спрашивая (без негодования, скорее от тоски, от обреченности, ничем и никем не оправданной): Как? И это всё? Пастырь может предложить лишь голодным – смириться с голодом, а умирающим – возрадоваться смерти? Но ведь всякий почти человек боится смерти, нежелание умирать, отвращение к данному процессу вполне естественны, в особенности, если наблюдать её тошнотворный танец почти каждый день. Неужели вместо помощи им предложили лишь ещё больше сломить себя – им, у которых от переломов души места живого не осталось и даже способность говорить и чувствовать пропала? Им, которые настолько внутренне распались, что ломаться дальше просто некуда?

Теофил твёрдым, непреклонным своим взглядом, охватывающим растекающуюся толпу, ответил: да, именно так – и собирался было спускаться с возвышения, но заметил отца Тимофея, пробивающегося сквозь толпу людей. Если раньше многие относились к священнику с почтением, теперь, решив про себя, что он заодно с неприступным архиереем – с едва скрываемой ненавистью, и ему действительно пришлось пробиваться, игнорируя толчки и брань.

Наконец священник достиг помоста. Рукой смахнул пот со лба, произнес взволнованно:

– Ваше преосвященство, я вынужден отвлечь Вас, потому как вспомнил об одном крайне неприятном, но важном событии, о котором Вам следует знать. Если позволите, мне необходимо поговорить с Вами.

Теофил кивнул, ещё раз кинул пронзительный взгляд в сторону удаляющихся жителей, проверяя, возымела ли действие его речь, и, удостоверившись по некоторым признакам, что не возымела, соизволил освободить помост. Он был весьма разочарован провалом, что в принципе случалось крайне редко, обычно при вмешательстве сторонних сил или обстоятельств, однако виду не подал и выслушал Тимофея. К тому же, дело и вправду оказалось безотлагательным, требующим непосредственного вмешательства.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Тимофей размышляет

Когда Тимофей пришёл в себя, в келье никого не было. Исчезло и неясное видение, явившееся ему во время беседы и доведшее до состояния иступления. Голова болела, немного и где-то внутри, так что добраться до источника боли не представлялось возможным. Это была не та обычная боль в висках, которая нередко посещала старика по утрам, сразу после сна – гораздо более выраженная, ближе к поверхности, к самым костям, так что её можно было уменьшить прикосновением или сильным нажатием пальцами на оба виска одновременно (от этого она сжималась в комочек, а потом вовсе рассасывалась). Нет, теперешняя боль затаилась в самом центре, как в ядре и даже как будто она и являлась тем самым ядром, обросшим тканями мозга, сосуда-

ми, черепной коробкой, кожей. Давала о себе знать только при различных телодвижениях, да и то не слишком – то был лишь слабый, довлеющий надо всем телом намек на головную боль, обещание её. Что ж, тем нуднее и нестерпимей она казалась.

Перед глазами стелилась пелена, но тоже какая-то неясная, тонкая, так что священник видел едва ли хуже, чем обычно – скорее некая общая размытость, расхлябанность силуэтов мешала сфокусироваться, потому глазки бегали, шурились да никак не могли задержаться на чём-то конкретном – так, словно все предметы отражались хрустальной поверхностью лишь вскользь, почти не касаясь, и тут же стремились скрыться.

Впрочем, вскоре Тимофей привык. Он обнаружил, что если слегка пригнуть голову влево, чтобы кожа на шее немного натянулась, не доставляя неудобств, то и боль исчезает, и очертания предметов делаются куда более чёткими, лучше схватываются – это открытие успокоило его.

Последних слов своих Тимофей не помнил. Ему только казалось, и вполне справедливо, что он высказал нечто чудовищное, совершенно непозволительное и даже такое, о чём не только всерьёз, но и вовсе никогда не думал. Он был уверен, что слова эти – страшные – не сам произнёс, а кто-то произнёс за него, воспользовавшись его языком и голосовыми связками. Кто-то, притаившийся внутри него и настойчиво ждавший момента, когда рухнут защитные барьеры и можно будет подчинить себе слабое, безвольное тело, явить себя миру, так сказать. Не иначе, чертовщина.

Тимофей понимал, что произошедшее поставило его в крайне невыгодное положение. Хотя епископ, несмотря на всю лесть (а по части лести архиерей был мастер, когда требовалось), и до того не слишком жаловал престарелого затворника, в первую очередь как раз вследствие добровольного этого, противоестественного затворничества, ибо такое поведение всегда вызывает подозрения либо в хитрости, либо в безумии, а ни того, ни другого Теофил не выносил. С другой стороны, положение Тимофея было достаточно прочно (если позволительно о таком положении говорить как о прочном), и ухудшить его при всем желании вряд ли удастся. В крайнем же случае, если и отправят ненароком в место более уединенное, куда-нибудь в пустошь, так что с того – в конечном счёте, Тимофей вполне привык к безмолвию, к одиночеству, да и недолго ему осталось, по собственному разумению.

Однако имелось ещё одно обстоятельство, беспокоившее отца Тимофея – чудо. Вернее, жалкая, но всё же весьма эффектная подделка. Не следует ли поведать епископу о том, что на самом деле произошло во время кровавого плача, насколько отвратительно вели себя люди и – главное – по чьей вине?

О нет, у Тимофея не было ни малейшего желания выдавать отца Павла, несмотря на всю мерзость, на высокомерие последнего, несмотря на его преступление. Павел вообще крайне заинтересовал

Тимофея в силу некоей неуловимой, необъяснимой, но весьма отчётливой эмоциональной связи между ними – наличие общей тайны лишь подтверждало факт таковой. К тому же, в них существовало нечто схожее, в некоторой степени роднившее их.

Разумеется, в Павле Тимофей увидел испорченную натуру, подобную той, что замечалась в епископе – нечто лицемерное, лживое, безверное. Однако если у епископа данные черты являлись изначально, естественными для него, хоть он с переменным успехом умудрялся использовать самые тёмные свои стороны и самые низкие склонности на благо (так, по крайней мере, ему представлялось), то в отце Павле вся эта мерзость его исходила скорее не от первоначальной склонности, а являлась следствием падения. В отце Павле Тимофей в первую очередь обнаружил человека совершенно, до глубины, до самой мельчайшей частицы своей разочарованного. А поскольку сам отец Тимофей также ступил на этот путь, то полагал, что это достаточное основание для того, чтобы отныне считать себя подобным Павлу.

В старом священнике, размалевавшем иконы кровью, всё зло появилось от вседозволенности, которая всегда почти рождается при крушении основ. Подобный механизм можно свести к простой формуле: весь мир отвратителен, так почему бы не уподобиться целому миру? У отступника словно лопнули ремешки, что прежде удерживали его, прикрепляли к жизни, и он находился теперь в состоянии свободного падения, как и Тимофей.

Потому всякую со своей стороны попытку выдать Павла последний не мог воспринимать иначе, кроме как предательство.

Но вся сложность создавшегося положения заключалась в следующем. Разочарование Тимофея (эта дыра, поедающая все силы и ценности) не доросло до размеров пропасти, которая разверзлась бы под его ногами, очевидная до неприличия, и проглотила целиком, переломав хребет, вобрала в себя, демонстрируя оборотную, наиболее мощную сторону жизни – ту, что надрывно завывает, кричит о своём неминуемом существовании, бросается в глаза картинами разрушений, запахом и вкусом тления вгрызается в носоглотку, но мы упорно делаем вид, будто вовсе не подозреваем о ней. И эта сторона есть основа. Мертвечина, если угодно, разлагающаяся плоть бытия, из которой всё вокруг состоит и рождается и которая гниёт в каждое произвольное мгновение времени, указывая на простой факт: всё здесь обречено. Вот до этой-то страшной безысходности Тимофей до сих пор не дошёл.

Он был уже достаточно оторван от прежних убеждений (по большей части религиозных), чтобы прекратить поступать согласно завету «Бог рассудит»; но, к сожалению, ещё недостаточно для того, чтобы вытравить из себя обострённое чувство справедливости, многим верующим так или иначе присущее. В силу возникшего противоречия само понятие справедливости Тимофей вынужден был в своём сознании низвергнуть с небес на землю, дабы здесь же, при жизни виновника, вершился праведный суд – с

этой позиции ему претило, что Павел вполне может получить некоторые почести от высших санов, причём получить почести не просто незаслуженно, но вовсе за дурное деяние. К тому же, отец Тимофей был отчего-то уверен, что самые ужасные последствия осквернения иконы ещё только грядут, и непременно желал предотвратить их. В голове его все последние события фантастическим образом сплелись в один неразрывный клубок и, согласно его же предчувствиям (весьма, впрочем, воспалённым и не подлежащим проверке), напрямую были связаны с возможностью спасти селение, спасти всех и себя в том числе, заслужить это пресловутое спасение, зацепиться хоть за что-то в мире, не позволяя душе окончательно провалиться в бездну апатии. Что ж, апатия – самое верное чувство, которое можно испытывать в подобных условиях. Вера и всевозможные идеи противостоят ему, ибо апатия – суть смерть, смерти же человек должен бояться и действительно всегда почти боится.

Тимофей из последних сил, подобно утопающему, хватался то за рассыпающуюся от неумелых прикосновений веру, не имеющую решительно никаких подтверждений и не способную утолить его смутных потребностей, насытить его, то за абстрактную идею спасения. Эта идея оказалась несколько крепче и даже навязчивей, нежели вера, ибо, несмотря на несостоятельность, заставляла против воли склонить голову перед ненадежной, лживой надеждой. О, хвататься во время краха за надежду – всё равно как если бы упомянутый утопающий в бессилии своём, в безумии вместо щепки схватился за змею, желая удержаться на волнах – совершенно ясно, щепка не помогла бы бедняге, однако же и змея, будь она там, прикончила бы его раньше стихии. В отношении надежды люди обычно никаких опасений не испытывают, и напрасно, ведь когда тебя обманывает природа вещей, можно перетерпеть, ну а коли сам ты начинаешь себя обманывать (и это кроме прочего) – что тогда?

Итак, Тимофей терял веру, но старался зачем-то поступать в соответствии с ней – по крайней мере, такая тактика создавала иллюзию почвы под ногами, которая на самом деле из-под ног давно ушла. Отсюда и нелепая мания всех и вся спасти. Дело привычки, да и нравственное чувство успокоено, не клокочет – впрочем, кто знает, чужая душа всё-таки.

Перед Тимофеем, таким образом, возникла крайне сложная дилемма. Предать одного человека, в коем, несмотря на враждебность, есть нечто близкое, и спасти селение, спасти весь этот замкнутый, загнивающий мирок, или же сохранить тайну и сложить руки наблюдать, как по иконам течёт кровь, и от запаха этой крови прихожане сходят с ума, обнаруживая непозволительные желания, и мир рушится (его, Тимофея, мир), и собственная душа летит в пропасть?

Следует пояснить, что так проблема выглядела лишь в понимании Тимофея по причине болезненности, действительное же положение дел, вероятно, сильно отличалось от подобных идей.

Никакими средствами для того, чтобы хоть кого-то спасти, старый священник не обладал, религиозное же спасение даже его самого в последние дни нисколько не успокаивало.

Что ж, если бы Тимофей отдавал себе отчёт в том, что даже себе помочь не в состоянии, то наверное не отправился бы к трибуне, где столь неудачно выступал Теофил, не стал бы затевать с епископом очередной разговор и, уж по крайней мере, ничего бы не сказал про чудо. Но вышло наоборот.

Разговор состоялся недолгий (на этот раз никому не хотелось особенно распространяться), епископ поблагодарил местного архимандрита за предоставленные сведения, благословил и спешно уехал. Вероятно, именно тогда Теофил решил провести столь редкую процедуру проверки истинности чуда и затем отлучить отца Павла. Впрочем, ничего этого не последовало в силу весьма трагических событий, речь о которых пойдет позже.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Пляска мёртвой женщины

Когда небезызвестный чудотворец посетил наконец вымирающий город, интерес к его персоне спал в силу двух обстоятельств. Во-первых, вследствие того, что местные слишком долго ждали этого пришествия и успели, что называется, перегореть, остыть, во-вторых, они были крайне разочарованы, так как надеялись увидеть человека отличающегося, незаурядного, могущественного – одним словом, такого человека, по внешнему виду которого угадывалась его необыкновенная сила; им непременно хотелось столкнуться с чем-то, доселе невиданным. Однако пришедший не только не удовлетворял данным требованиям, но вовсе оказался тихим, неприметным бродягой, на первый взгляд даже как будто не совсем в уме. Жители лишний раз подивились, насколько порою слухи разнятся с действительностью – ведь им обещали юношу, внешностью подобного древнегреческому божеству, окутанного небесным сиянием да знающего толк в колдовстве, а явился, кажется, очередной нищий пророк, коих без того в округе хватало (разумеется, все сплошь шарлатаны, невинным, но весьма устрашающим способом обмана пытающиеся заработать на жизнь).

Впервые его увидели вскоре после того, как епископ Теофил покинул селение, в одном из заброшенных и совершенно непригодных домов, что посреди кладбища. Вероятно, там он решил обосноваться на время своего пребывания в здешних краях, дабы избавиться от повышенного внимания толпы (быть может, для того также, чтобы сохранить ореол загадочности). Хотя, вынуждены признать, всё, что касается мест обитания и мотивов чужака, по большей части домыслы, ибо, несмотря на то, что у подобных предположений есть основания, основания эти недостаточны и смутны. Взять, к примеру, дом на кладбище, где как будто поселился пришедший – внутри никто его не видел, а видели только во дворе,

среди могил – он всё ходил и чего-то искал, затем исчез. Когда же несколько озлобленных человек, сохранивших религиозное рвение и решивших во что бы то ни стало изгнать чужака, как повелевал им Пастырь, ворвались в ветхую избёнку, павшую под подозрение, то нового жильца не обнаружили. Комнаты изнутри оказались разграблены, пусты и не прибраны – стены сплошь покрывал венозный узор из трещин, образовавшихся под краской, сама краска повсеместно шелушилась, как псориазное пятно, и опадала, пол же весь был залит водой по самую щиколотку, вода стояла мутная, источала отвратительную вонь. Никто не сумел бы прожить в подобных условиях. Внимание ворвавшихся привлекли разве что две деревянные бочки, покоившиеся на возвышении у порога – так, чтобы на них не попадала влага. Одну откупорили – в ней оказалась тёмная маслянистая жидкость, навроде мазута, со специфическим запахом. Бочки оставили на месте, так как не знали назначения содержимого. Однако было совершенно неизвестно, стояли ли они здесь и ранее, припасённые прежним хозяином, или же появились только теперь и принадлежали чудотворцу? Никто не смог вспомнить наверняка, потому определить, нашёл ли чужак пристанище в затопленном доме или просто околавывался поблизости, не зная, что предпринять, оказалось невозможно, и люди, пожелавшие проявить рвение, ушли ни с чем.

С тех пор чудотворца стали замечать то в одной, то в другой части города, однако вёл он себя странно – ничего не проповедовал, не предлагал помощь (если же его просили, никогда не отказывал). Благодетель вызывал в людях не благоговение и трепет, как это было прежде, когда он избегал посещать мёртвое Городище, а скорее жалость, у иных презрение – где уж тут до «сына погибели», предрекаемого Теофилом. Пришедший, казалось, вовсе никаким могуществом не обладал – ходил совершенно нищим, как уже говорилось ранее, в одежде, которой и нищие-то в нынешние времена не носят – не одежда, а так, нечто вроде узловатого тряпья, обмотанного вокруг тела и перевязанного на плечах и в промежности, дабы не спало – белое и грязное. Волосы его были длинные, светлые, спутанные, впрочем, также не слишком чистые – постоянно застилали глаза. Глаза же дикие, навывкате, почти сумасшедшие. Да вот ещё необычайно бледная кожа обтягивала всё его тело, что при здешних условиях никого особенно не удивляло.

Он до сих пор помогал тем, кто просил, непонятно откуда доставая то мясо, то хлеб, то гречиху. Такое поведение вполне соответствовало представлениям местных о святости, потому юношу стали со временем почитать святым, даже отправили несколько прошений епископу с тем, чтобы церковь признала заслуги чудотворца. Ответа, впрочем, ни на одно из писем не последовало – то ли письма не дошли, что вполне возможно при практически полной изоляции от столицы, то ли Теофил пожелал оставить без внимания столь сомнительные просьбы.

По прошествии недели со дня посещения еписко-

па или около того чудотворец принялся наведываться к умирающим от лихорадки, дабы утешить. Кроме того, он умудрялся снимать боль наложением рук, за что больные были очень признательны. Те, кого навещал благодетель, а также очевидцы этих встреч утверждали после, что, стоило только юноше зайти в их комнату, вся она наполнялась приятным свечением, исходившим от тела посетителя, лицо же вошедшего преображалось, так что вместо безумца на них печально взирал необыкновенно красивый, чересчур бледный человек. По их словам, его можно было бы сравнить с божеством, если бы боги не умерли.

Разумеется, рассказы умирающих местные объясняли болезненной впечатлительностью. Что касается тех очевидцев, коим смерть не грозила, тут, по мнению большинства, злую шутку сыграла чрезвычайная духота, стоявшая в воздухе водянистой дымкой и особенно тяжело переносимая в закрытых помещениях.

Неизвестно, насколько достоверны свидетельства о сиянии вокруг чужака и его необычайной красоте, потому как на улице он представлялся почему-то весьма заурядным, измученным созданием. К тому же, умирающие действительно отличаются крайней впечатлительностью, да и лето выдалось настолько сумасбродным в плане погоды, что совершенно здоровые люди не выдерживали, начинали буквально с ума сходить от жары. Однако чудотворец скромностью своей, неприязнательностью наряду с желанием помочь и способностью снимать боль (именно в таком порядке, никак иначе) завоевал доверие едва ли не целого города – его считали святым, ему плакались, исповедовались, втайне поклонялись. Люди так изголодались по добрым чувствам, что малейшее проявление участия, всякая помощь превращали их в фанатиков, ибо все они обладали сильной потребностью в религиозном преклонении, однако потребность эта не была удовлетворена стараниями епископа. Потому неудивительно, что они жадно искали себе идола и, отыскав, не могли более отречься от него.

Иными словами, чудотворец приобрёл безграничную и, что хуже всего, безраздельную власть над людьми, над их помыслами и чувствами (власть в области духа, которой так воцарился и не сумел добиться отец Павел), причём приобрел эту власть столь умело, столь ненавязчиво, что никому даже в голову не могло прийти, будто ими кто-то действительно управляет. Неясно только, произошло ли такое порабощение намеренно, с неким умыслом, или оно стало результатом множества хаотичных, не связанных друг с другом происшествий.

Значение для формирования означенной власти имел также тот факт, что мосты, некогда перекинутые через реку и разрушенные ливнем, в конце июня вновь стояли на своих местах, хотя никаких строительных работ не велось – это, конечно, тоже приписали чудотворцу.

Третьего июля, в понедельник, отец Тимофей отправился к одной из больных, недалеко от церкви – он взял за правило непременно посещать всех страждущих вместе с престарелым доктором и старался по возможности никого не обделить вниманием.

Обычно они встречались у прежних монастырских ворот и шли вместе. Врач рассказывал по пути о болезни, о своих предположениях насчёт её источника (которые, к слову сказать, нисколько не дополнились с момента его беседы с Лигниным, потому старик всякий раз говорил одно и то же), о динамике еженедельной кривой, медленно и скорбно ползущей вниз с редкими нарушениями этого перманентного падения, скачками, ибо в иные дни никто вовсе не умирал, да всё как-то горько усмехался, как бы показывая, что делать совершенно нечего, придётся смириться. Тимофей молча слушал, изредка что-то переспрашивая или комментируя, ибо прекрасно понимал, что по существу разговора сказать ничего не может (то есть что касается медицинского аспекта), переводить же на иные темы ни к чему.

Врач за период наводнений состарился до неузнаваемости. С каждым днём он выглядел всё хуже, ноги совсем его не слушались, голова и сохшиеся конечности стали трястись особенно сильно, на лице запечатлелись крайнее измождение и бессилие, – после смерти шестилетнего ребёнка старик практически перестал есть и спать, и это значительно вредило его без того расшатанному здоровью. Большую часть времени он посвящал бессмысленным обходам, ковыляя по городу от дома к дому с прохудившейся сумкой, в коей были всего только камфорный спирт да какие-то болеутоляющие, вечерами же лежал на своей койке, уставившись в потолок, вскармливая долгими размышлениями сомнения, бередя душевные раны, испытывая на прочность ум свой и совесть. То обстоятельство, что заразившуюся девочку не удалось спасти, сломило его – оттого он дряхлел и усыхал, так что невольно приходила мысль, мол, протянет недолго. Отец Тимофей, к примеру, не удивился бы, если бы врач в ближайшее время не смог более приходиться на встречи, то есть окончательно слёг бы из-за слабости в ногах, донимавшей его и постоянно нарастающей, или, не дай бог, умер. Впрочем, все предполагали скорую смерть местного доктора, так что больным при его посещениях становилось даже как будто совестно – по крайней мере, тем из них, кто не успел впасть в беспамятство. Врач ничем не мог помочь, и эта невооружённость перед лицом лихорадки изматывала его, навязчивой мыслью, страшной червоточиной засев в глубине сознания.

Тимофей из жалости никогда не перебивал своего собеседника, даже если тот повторял одно и то же в десятый раз, и старался по возможности обходить острые углы, нежелательные темы – а поскольку повсюду, во всяком почти слове острые углы да нежелательные темы таились, он неизменно молчал.

На сей раз, однако, доктор ограничился весьма скудным описанием истории болезни женщины, ко-

тору предстояло навестить, и принялся вдруг рассуждать о другом.

– Вы помните Лигнина?

– Конечно, помню. Намеревался зайти к нему, да никак решиться не мог. В прошлый раз беседа сложилась не слишком, знаете ли, а мне требовалось обсудить с ним вещи гораздо менее приятные, чем тогда.

– Теперь поздно.

– Почему же? – Тимофей поглядел недоуменно.

– Я к нему заходил периодически. Обитает он полнейшим изгоем, почти никогда не выходит, даже смотреть жалко. В последний раз, то есть, кажется, позавчера, он уже был несколько не в себе. Вероятно, тоже заболел и вскоре сляжет. По лицу видно. Вы замечали, что у лихорадочных совершенно особенное лицо? Как будто злобное – от обречённости, а в то же время в нём отчетливо проявляются признаки умопомешательства особого рода, навряд ли вязчивой идеи что-то. И похоть. Лихорадка, с коей мы здесь столкнулись, пробуждает желание, усиливает половое влечение, подобно некоторым заболеваниям мозга.

Врач говорил довольно тихо, так что приходилось прислушиваться. Он остановился, дабы перевести дух (слова отнимали чересчур много сил, сбивали дыхание, от них пересыхало в горле и всё внутри начинало сворачиваться), затем продолжил:

– У него ещё нет симптомов. Но я видел довольно много больных и научился теперь определять заранее. У заражённых такая чёрточка в лице появляется, нечто вроде отметины. Видишь крохотную чёрточку – она-то всё и выдает.

– Что же это за чёрточка?

– Оскал. Как будто челюсть немного свело.

– И вы уверены в диагнозе?

– Разумеется. Вы бы посетили его, отец Тимофей, пока имеется такая возможность.

– Непременно.

Священник в очередной раз солгал – после встречи с епископом ложь стала даваться ему значительно легче – вполне натурально да без каких-либо смутных угрызений. Несмотря на давнее обещание продолжить диалог, начатый в день смерти сводной сестры Андрея Михайловича, Тимофей с некоторых пор отказался от этой затеи, ибо по большому счёту она не имела ровно никакого смысла – так, прихоть чувства вины, не более. Хотя в качестве больного навестить Лигнина всё-таки придётся, но, пожалуй, не раньше, чем тот лишится всяческих сил.

– Лихорадка не идёт на спад, – говорил между тем доктор. – Знаете, а ведь наши с вами визиты, если рассуждать практически, пустая формальность, в лучшем случае дань уважения умирающему. Я даже от боли и судорог не могу их избавить – оставшиеся медикаменты слишком слабы. Пожалуй, в данном случае был бы уместен индометацин или что-то наркотическое, но приобрести негде. Разве только выписать из столицы, да ведь опять откажут.

– Если эти посещения – лишь формальность, не следует ли прекратить их? Вы же зря себя губите.

– Не велика беда, отец, даже коли я себя и загублю – толку от меня никакого в любом случае. Формальность или нет – я должен исполнять её до тех пор, пока способен ходить. Я пытаюсь выявить причину болезни, пытаюсь облегчить несчастным страдания – помогает не слишком, я уже говорил. Противосудорожные, к примеру, вовсе закончились. Даже чудотворец наложением рук снимает боль лучше, чем мои препараты – уж не знаю, как ему удаётся, быть может, при помощи гипноза или сильного убеждения, ибо люди склонны в последние дни надеяться на призрачную магию.

– Можно также предположить в нём некоторые способности, как бы это сказать, сверхъестественные.

– Ах, я бы и рад предположить, да не верю ни в одну из этих мнимых способностей, ведь они напрямую относятся к магии, магия же несостоятельна, как всё вообще туманное, неясное, безосновательное, – её, пожалуй, вовсе не существует. Взять хотя бы тот факт, что все ныне толкуют о бесах, что насколько не удивительно – народ суеверен, да вот ещё жаждет понимать, что происходит, а коли понять невозможно – сам же выдумывает объяснение, и по большей части небылицы. К тому же, совершенно непонятно, почему вдруг пришедшего чужака стали именовать чудотворцем – разве он совершил какое-нибудь чудо?

– Насколько я слышал, в селении за рекой он что-то подобное сотворить пытался, да только скандал вышел.

– Это, простите, с голой девицей-то? Наслышан, – старик на ходу махнул рукой, выражая тем самым безразличие и в то же самое время как бы отгораживаясь, отказываясь от самого факта. – Мол, сделал женщину красивой. Так ведь здесь тоже мог быть гипноз, либо сработал механизм всеобщего заблуждения, вызванного желанием – физиологически такое оправдано, желание опьяняет, и потому ослепляет. Да и позволительно ли предаваться сексуальной связи у всех на глазах? Насколько мне известно (я много хожу по домам, соответственно, многое слышу), именно это и произошло, то есть совершенно неприкрытое, голое, бесстыдное соитие перед толпой зрителей.

– Разве так?

– Да, именно так. По крайней мере, все, кто там присутствовали из местных, таким образом всё описывают, в несколько более грубых выражениях – отправились-то в основном бывшие рабочие, народ грубоватый, без особенных приличий, да, кроме того, весьма падкий на подобные зрелища. Так что сегодня множество пахабных, скотских слухов заполнили город – по углам все об этом только и шепчутся. Разумеется, кроме больных, лежащих – им не до того, они же при смерти. Ну а что касается оставшихся, то есть здоровых, так они слишком долго находились в состоянии опасного уныния, уныние доконало их – некоторые увеселения, такого хотя бы рода, должны их немного отвлечь. Однако же поведение непозволительное, не правда ли? Раз-

ве соотносится это со святостью, которую иные ему приписывают?

- Признаться, я почти ничего не слышал о том, как именно совершалось сомнительное (теперь-то уж точно!) чудо, говорили только, что женщина в мгновение ока сделалась абсолютной красавицей. Нет-нет, он не святой, ибо к чему святому заботиться о телесной привлекательности своих последователей? Но скажите – уверены ли вы, что всё именно так происходило, что подвоха и приукрашивания нет?

- Да разве сами вы, отец Тимофей, слышали так мало? Ведь вы, кажется, только вчера на лодке отправились за реку, отпевать двух несчастных братьев – это же, если не ошибаюсь, тамошнего старейшины сыновья? Тамошний-то старейшина не слишком ладил со здешним Советом, царствие им всем небесное. Вы, кстати, не знаете, отчего они умерли?

- Хм... Одного зарезали, так что пока несли, вся ткань, в которую тело завернули, в крови насквозь испачкалась, второго же вовсе избили до смерти. Представляете, какая трагедия для матери, потерять обоих детей сразу. А отец даже не вышел. Быть может, не нашёл в себе силы, ведь он человек религиозный, не стал бы проявлять такую чёрствость.

- А виновника нашли?

- Нет, да и искать никто не станет. Наверняка местные бродяги – потеряли всякое чувство от голода. Может, увидели у них немного еды или денег да напали, чтоб поживиться – в конечном счете, кто его знает, что там произошло!

Пожилые люди добрались наконец до места, и разговор сам собою прекратился.

Дом, куда направлялись священник и врач, был старый и деревянный, почерневший после недавнего наводнения – из прежних, что стояли здесь до разработки шахт, ныне никуда не годных. В своё время его подлатали, придали вполне божеский вид да поселили семью, прибывшую пять лет тому назад одной из первых, чуть раньше Лигниных. В той семье детей не имелось, муж же сбежал, как только прекратились работы – возможно, он сумел добраться до столицы и там обустроиться, либо сгинул где-то в близлежащем болоте, либо пополнил плотные ряды бродяг, тех самых, что бесцельно и беспорядочно кочуют от одного поселения к другому в поисках еды, денег, временного пристанища. И женщина умирала теперь в одиночестве. Не в том одиночестве, под которым подразумевается отсутствие людей рядом – нет. Она умирала при зрителях (благо, таковые всегда найдутся в последнюю минуту), однако не имея никаких родных и, соответственно, никакой поддержки.

Дверь не запиралась. Вошли. Проследовали по узенькому коридору с необычайно низким, как бы вогнутым вовнутрь под тяжестью развалившегося второго этажа, потолком, затем оказались в комнате, где пребывала несчастная хозяйка.

Комнатка была сыренькая и маленькая, как, впрочем, в большинстве здешних домов, особенно тех, что стояли да гнили в течение полувека. Посреди стояла кровать, на которой изнывала женщина, уку-

танная в бесполезные, спутавшиеся простыни. Простыни целиком сбились вниз и прикрывали главным образом ноги, обмотавшись вокруг бёдер причудливыми узлами, верх же, кроме левой руки, был ничем не прикрыт. Она лежала в бреду, совершенно обнажённая, так что отец Тимофей поначалу не знал, куда девать глаза, дабы не созерцать голую плоть. От болезни бедняжка настолько исхудала, что грудь её вовсе исчезла, сделалась плоской, мальчишеской, сквозь неё просвечивали вогнутые, неровные прутья рёбер. Женщина поминутно вздрагивала, плакала, а то вдруг начинала извиваться всем телом, выгибалась дугой, словно желала переломить себе хребет, вставая только на макушку и пятки; спина при этом превращалась почти в полукольцо.

- Истерическая дуга, – констатировал доктор. Затем подошёл к больной, попытался успокоить, но та забрыкалась да разразилась отвратительным, утробным хохотом, сквозь слёзы.

Тимофей не сразу заметил, что, кроме них, в комнате собралось ещё несколько человек, всего трое – две женщины, по-видимому, соседки, и юноша, коего местные именовали чудотворцем. Соседки стояли в стороне, неприметно, юношу же священник почему-то оглядел вскользь, ни на чём не заостря внимания, после чего принялся осматривать комнату. Особенно заинтересовала его фотография, стоявшая на столике рядом с койкой, в дешёвой пластмассовой рамке, сделанная примерно за год до болезни. С неё на вошедших простоудушно уставилась рыжеволосая девушка с довольно простым, ничем не примечательным лицом (вполне милостивым, не более), слегка полноватая, но не чрезмерно, так что ей, пожалуй, даже шло.

Женщина на койке выглядела иначе. Она была худа до невозможности, истощена, однако же красива, в отличие от той, прошлой, которую запечатлел фотограф. Черты лица её заострились от этой худобы, глаза сделались больше, ярче, выразительней, болезненный блеск придал им нечто хищное и ядовитое, а вместе с тем притягательное. Губы, щёки покрывал белый налёт, волосы, спутавшиеся и свалявшиеся, были разбросаны по подушке непослушными огненными прядями. Сlixорадкой в ней особенно стали заметны и привлекательны черты, до того скрытые, бывшие как бы на втором плане, а пожалуй даже, черты, которых прежде вовсе не существовало. Откуда, в самом деле, у простушки со скучающим видом мог появиться такой хищный, такой неприкрытый оскал? Откуда это странное, завораживающее выражение иссиня-чёрных глаз, напоминавших теперь два выжженных колодца, лишённых всякого дна – и невозможно глядеть в них, и нельзя не глядеть. Болезнь привнесла в неё что-то демоническое, злобное и развязное.

Впрочем, в комнате находился ещё один обладатель такого же точно взгляда, именно же чудотворец. Ах, куда только подевался тот тихий, смиренный взор, с каким глядел он на улице, при всех, в толпе! Нет, здесь, никем не замеченный, он вполне мог позволить себе не притворяться. Никакого бла-

женного безумия в его глазах не было, ни единой крупницы, только как будто плясали искорки. Тело же и вправду светилось, а сквозь весь яркий облик осторожно пробивалось нечто жгучее, тёмное и потустороннее.

Но, может быть, всё только привиделось отцу Тимофею вследствие недуга, проявившегося во время беседы с епископом и даже задолго до этой беседы. С тех пор восприятие действительности у священника несколько изменилось, стало более невротическим, более рассеянным, однако же рассеянным совершенно особенным образом. При подобной рассеянности всё видимое обычно плывёт, очертания делаются не то что бы неясными, а скорее безграничными, так что один предмет беспрепятственно перетекает в другой, сливается с ним, создавая некую неразрывную плотность, сквозь которую приходится с трудом пробиваться. Из общей плотности вырываются лишь некоторые детали, мельчайшие, до коих прочим и дела-то никакого нет. Детали эти растут, поглощая окружающий фон, и кажется, будто они одни заключают в себе весь тот смысл, который в понимании нормального человека равномерно распределён между всем содержимым пространства.

Так и теперь. Крохотная комнатка – серый, оштукатуренный фон, не имеющий никакого значения, включая и скромных соседок, пришедших в угоду своему непомерному любопытству, умело скрытому под личиной сочувствия, и беспомощного доктора, и из этого фона жадная глазная поверхность выдирает сначала слишком неуместную фотографию (изображение с неё бело-рыжим пятном настырно просачивается в поле зрения, не позволяя ни на чём более сосредоточиться), затем хищный оскал на лице женщины, причём само лицо также расплывается, расползается по швам, подобно плохо сшитому полотну, являясь лишь жалким фоном для этого всепоглощающего оскала, затем животная ухмылка оскудевает, пропадает из виду, уступая место другому – теперь это два смертоносных уголька поверх прежнего тумана, поверх неприметных пастельных тонов, всего два уголька, заключающих в себе всю бездну безумия и разврата, погибель. Наконец на смену прожорливым глазам женщины в поле видимости Тимофея попадает мимолётная, случайная искорка, сверкнувшая во взгляде лукавого чудотворца. А сама фигура чудотворца снова – один невнятный фон, ведь значение имеют лишь едва заметный ореол свечения вокруг неограниченной плотности, из которой слеплено тело, да скоротечная искорка, в сознании сумасшедшего Тимофея превратившаяся в целый сноп таких искр, и в них – та же очевидная погибель, что и во всём облике больной женщины.

Священник едва не упал в обморок, но вдруг всё прекратилось, и он вновь оказался посреди прозаической, горестной, не раз уже виденной им обстановки – комнатка, кровать, а на кровати – обречённый или обречённая бьются в конвульсиях, хохоча и плача, бесконечно долго хохоча и плача. Меняются зрители, меняются места, но суть данной картины всегда одна и та же – клетка, заключающая в себе

целый мир, и жертва, и кажется, что как только жертва делает последний вдох, всё вокруг исчезнет, а под ногами разверзнется пропасть – откроется та самая оборотная сторона мира. И всякий раз это действительно происходит: умирает жертва, исчезает сущее, оборотная сторона или, если угодно, первичная ткань жизни предстаёт во всей своей гниющей, омерзительно-трогательной наготы.

– Отец Тимофей, что с вами?

Священник очнулся и обнаружил себя на руках доктора, сползающим постепенно на пол. На миг он всё-таки потерял сознание. Всякий раз, когда это происходило с ним, он сталкивался с теми страшными, непостижимыми глубинами, из которых всё и вся произошло и где любое событие имело первопричину, настолько далёкую от человеческого восприятия, что её и пояснить-то словами нельзя. Благодаря подобным провалам Тимофей видел связи между тем, что никак не могло быть связанным. Не ясно лишь, являлись ли такие провалы признаком безумия, или же редким даром, позволяющим проникать в самую суть вещей.

Отец встал на ноги, помассировал немного голову, дабы прийти в себя.

– Вам надо сесть и отдохнуть, – сказал доктор (а руки-то у него плетью повисли, поддержка, оказанная падающему Тимофею, потребовала слишком много силы от рук старческих, рук истощённых).

– Нет-нет, доктор, отдышаться я не стану. К тому же, всё прошло. Вероятно, здесь просто душно, духоту мне переносить тяжело. Но ничего, ничего...

Между тем чудотворец положил руки на грудь и на лоб женщины, и она мгновенно успокоилась, погрузилась в глубокий, безмятежный сон. Её по шее закрыли простыней, размотав предварительно ноги, прибрали потускневшие волосы (потускнели они только теперь, по крайней мере, до обморока Тимофею виделись огненные пряди, настоящие всполохи – то ли освещение сменилось, то ли тогда старик был не в себе), сменили подушку да отёрли лицо от пота, разводами скопившегося на почти белой коже.

– Как вы полагаете, сколько ей ещё осталось? – тихим голосом спросил Тимофей, обращаясь ко врачу.

– О, немного. К вечеру всё закончится, – доктор помедлил, собираясь с мыслями, облизал сухие губы и продолжил. – Я знаю, вы пришли главным образом для того, чтобы успокоить страждущую, дать ей различные религиозные наставления перед смертью, выслушать исповедь. Но в сознание она, вероятно, не придёт до самого завершения. Если попытаться разбудить её, что категорически вредно, то снова начнутся конвульсии и бред, ибо она уже совершенно невменяема. Так что, если хотите, можете идти домой. К тому же, самочувствие у вас, судя по всему, неважное, а заниматься двумя больными сразу я не сумею.

– Я останусь.

– Как угодно, отец Тимофей. Мне же необходимо посетить ещё двух лихорадочных, пока менее тяжё-

лых, оба слегли совсем недавно. Так я вас покину, а через два часа вернусь. Полагаю, примерно тогда наступит смерть.

Доктор ушёл. Через некоторое время, заключив по некоторым признакам, что ничего занимательного происходить больше не будет, ушли также невзрачные соседки. В доме, таким образом, кроме хозяйки, находившейся в беспамятстве, остались чудотворец и престарелый священник.

Больная пребывала в состоянии покоя, не совершая никаких движений, только прохудившаяся, просвечивающая грудь, обтянутая пергаментной кожей и, сверху, мятой материей, всё ещё подымалась, опускалась, подымалась вновь – воздух настырно вгрызался в лёгкие, поддерживая едва теплившуюся жизнь и, надо полагать, причиняя вместе с тем боль, ибо при лихорадке сам процесс дыхания в последние дни причиняет боль – от того, что вся слизистая покрывается многочисленными язвочками. Последние часы рыжеволосая женщина проведет во сне, среди туманных образов, которые постепенно будут сгущаться, делаться более немислимыми, тёмными, непроницаемыми, пока наконец не сольются в сплошную черноту и женщина не перейдет в небытие.

Чудотворец, подобно отцу Тимофею, расположился близко к койке, но на противоположной стороне. Лицо его было бледно, мрачно, однако всё как будто напускное, навроде маски что-то, скрывающей самодовольную ухмылку. Священнику казалось даже, будто сей притворщик потому посещает такие места, где происходит множество бед, что наблюдать эти беды доставляет ему несказанное удовольствие, аккуратно спрятанное под скромным желанием помочь. Вот и теперь в глазах юноши плясали отчего-то лихорадочные искры – издали чудилось, будто это не искры вовсе, а крохотные мотыльки, совершающие незатейливый танец вокруг непроглядного, бездонного зрачка.

Наконец Тимофей нарушил тишину – он давно намеревался, да всякий раз при попытке хоть что-нибудь сказать к горлу подступал комок.

– Как вам удаётся?

– Что именно, преподобие?

– Снимать боль?

– Не знаю, – чудотворец выдержал паузу, прежде чем продолжить. – Нет, не знаю. Вероятно, главное в моём ремесле – найти первопричину.

– Позвольте, а какое же у вас, – чуть помялся, пробуя на вкус устаревшее слово, – ремесло?

– Помогать. Я лишь должен всех избавить от страданий, всех-всех осчастливить.

– Но излечить эту несчастную вам не под силу, верно?

– Нет. Однако я ищущий способ.

– Скажите, раз уж вы упомянули о поиске первопричины, – какова первопричина непосредственно боли, по-вашему? А то доктор убеждён, что это связано с разрывами тканей и прочим... телесным, – последнее слово старик произнёс презрительно.

– Вы совершенно зря так пренебрежительно рас-

суждаете о телесном. Впрочем, причина такого отношения кроется в исключительном своеобразии ваших религиозных взглядов. Я полагаю, в формировании боли в данном случае роль играют как физические повреждения, так и душевные. Больные испытывают сильное беспокойство или, если угодно, душевные терзания. Полагаю, сама болезнь берёт начало в той же области.

– Отчего же они страдают?

Чудотворец едва заметно улыбнулся (улыбка как бы сообщала о том, что жертва заглотила наживку и можно переходить в наступление), наклонился вперёд, произнес вкрадчиво, с нажимом:

– От того же, от чего и вы, преподобие. Вы называете эту субстанцию бесами, так что к вам в самом деле принялись наведываться бесы, впрочем, вами же сотворённые – пусть так, ведь многие больные видят перед собой бесов, те соблазняют их счастьем или покоем, причудами иных миров, страстью, сытостью и прочим, до чего охотлив человек. Но что такое эти бесы? Они есть порождения ума, – чудотворец приставил палец к собственной голове, затем к голове Тимофея, – и тьмы, – пальцы потянулись к сердцу. – Тьма заразительна до крайности. Достаточно зародиться ей в одном только живом существе, и вскоре всё вокруг делается подвластным ей. Отчего она так мгновенно расплзается? Да потому, что тьма и есть первичная ткань, то, из чего рождается жизнь, то, из чего рождён мир – тьма и хаос. Вам ведь известно это, верно? Свет, без сомнения, приносит радость, но он поверхностный, скользит снаружи, не в силах бороться с тенью, ибо тень защищена! Всякий предмет, преподобие, защищает тьму от света, сохраняя её позади себя как свою прародительницу. И даже если вдруг, разом, повсюду делается один сплошной свет – он затронет лишь видимые глазу поверхности, сути же изменить не сможет. Но вот в чём загвоздка – тьма, подобно всякой основе, находится как бы под предметами и событиями, чтобы появиться снаружи, таким образом, необходим некий разрыв. Преступление, например. О, как мучительно метаться между светом и тенью и в конце концов повиснуть посередине, над нескончаемой пропастью, из-за какого-то дурного поступка, верно?

Тимофей похолодел, предугадав, к чему ведёт собеседник, однако ничего не посмел сказать такого, что позволило бы сменить тему. Дотронулся до лба – так и есть, испарина. Капельки пота скопились в глубоких, будто прорезанных, морщинах – от волнения.

– Что вы натворили? – ни с того ни с сего выпалил чудотворец.

– Простите, я не понимаю...

– Ладно, можно спросить иначе, дабы обойти неприятные подробности. Что вас гложет?

– Вина. И ещё время. Проблема времени в том, знаете ли, что оно не позволяет изменить уже совершённое.

– Изменить и вправду никак нельзя, однако существуют различные способы примирения с самим собой. Но прежде ещё один вопрос, если позволите.

– Зачем вам это? Зачем вы разговариваете со мной?

– Я уже говорил, мне хочется помочь. Итак, скажите, кроме неясных, призрачных бесов, вам являлся кто-то еще? Например, из умерших?

– Нет.

– Ходят слухи, будто однажды вы видели перед собой римскую богиню женственности и плодородия, да ещё совершенно обнажённую? Не странно ли, в самом деле, что древнее божество привиделось священнику, предшественники коего уничтожили всех древних богов? Она не пыталась соблазнить вас?

– Нет. Пожалуй, нет.

– Но ведь она была красива?

– Давайте прекратим, – Тимофей снова вытер пот со лба.

– Что ж, можно и прекратить.

Чудотворец поднялся со своего места, подошёл вплотную к священнику и сказал, шёпотом:

– Знаете, мне очень нравится аллегоричность вашего мышления. В самом деле, назвать женщину богиней из-за банального сходства имён, возвести её до положения богини в своих помыслах – это до крайности интересно! Да вот беда – женщина, которую вы так возвысили, умерла, а вы почему-то несёте тяжкий груз вины, полагая, будто виновны более всех. В чём же? А вы хитрец, преподобие, этакий притворщик! Ведь вы, пожалуй, в целом городе более всех связаны с пришедшей тьмой, она так и лезет вам в душу. Прикидываетесь сумасшедшим глупцом, в то время как только вы один и знаете наверняка, что именно здесь происходит!

– Не надо, не трогайте, отстаньте! – прозвучало скорее не грозно, но жалобно, с умоляющей интонацией.

– Пожалуйста. Я только кое-что разьясню, для вашего же блага. Вы недавно спрашивали, как можно исправить то, что уже свершилось.

– Да.

– И я ответил, что это совершенно исключено. Есть лишь два способа разрешения ситуации, зависящих от того главным образом, насколько вы разделяете представление о бессмертии души. Ибо если душа бессмертна, то с прекращением телесной жизни человек не умирает, но переходит в иной мир, а значит, за всякое убийство, каким бы жестоким оно ни было, можно простить.

– Вы требуете, чтобы я простил?

– Ваша вера требует, преподобие, так что удивительно, что сами вы не думали об этом. Я же ничего не требую, но дарю безвозмездно. Теперь же я хочу пояснить, насколько проста проблема, коей посвятили бесчисленное множество религиозных и теологических трудов – хочу пояснить, потому что вам требуется моё пояснение. Если веришь, веришь совершенно, то есть веруешь, то убийство в твоём понимании есть всего только болезненный переход, подчас насильственный, но не прекращающий жизни, то есть, принять и простить надо лишь телесную боль, телесная же боль есть ничто – опять-таки, по вашему верованию. Вся беда в том, преподобие, что

в конечном счёте ни вы, ни кто-либо другой не способны верить настолько, чтобы принять этот факт да смириться безо всяких сомнений. Вы все слабы в вашей вере. А такой человек, то есть не имеющий веры, не имеет права простить за убийство, ибо убийство в его понимании есть не переход, но окончательная смерть, тотальное уничтожение человеческого Я. Таким образом, вы либо верите и потому должны простить и себе и другим, либо не верите и потому должны, простите за откровенность, умереть, ибо таков единственный способ успокоения. Так веруете ли вы, преподобие?

В голове у священника помутилось, на миг вновь вернулся разрозненный хаос, в воображении вспыхнуло нечто старое, небывалое. Рвёт. Ты слышишь меня? Ты веришь мне? Веруешь в меня?

– Я не знаю, – простонал Тимофей. – Зачем вы издеваетесь надо мной? Я не прикасался к ней!

– Мне это неизвестно. Даже если так, вы по какой-то причине чувствуете себя значительно более виновным, чем прочие. И мне совершенно непонятно, где кроется ваша вина. Так что же вы сделали, преподобие, скажите наконец!

– Ничего, – сдавленно, сквозь хрип, ответил старик и поспешил отойти подальше от своего мучителя, к самому выходу.

– Всё-таки, отец Тимофей, есть в вас что-то отвратительное, до чего неприятно касаться...

Тем временем возобновилась лихорадочная пляска на койке – все суставы женщины буквально выворачивало наизнанку, так что она корчилась, стонала, исходила пеной. Чудотворцу ещё два или три раза удавалось избавить несчастную от страданий, но ненадолго, а вскоре, когда началась агония, наложение рук сделалось вовсе бесполезным.

Умиравшая плясала около часа. Отмучилась только под вечер, когда солнце приблизилось к линии горизонта. В комнате из-за занавесок установилась темнота. Отец Тимофей раздвинул их дрожащими руками, и всё внутри помещения приобрело розоватый оттенок.

Блёклые лучи упали на лицо женщины. Лицо это было сухое и измождённое. Священник долго глядел в него, пытаясь обнаружить признаки того прежнего, демонического, но так ничего не обнаружил. Ещё одна плетёная куколка, ещё одно разочарование, падение.

Вернулся доктор вместе с представителями похоронной бригады, начали собираться к развалинам фабрики.

Наступил закат, цвета красного вина, и печальная процессия тронулась. Священник шёл впереди, шагал как-то совершенно неровно, кренился всем телом да всё время озирался по сторонам, словно чего-то опасаясь; за ним двое мужчин из похоронной бригады тащили носилки, на которых бесформенной тростинкой, скрытая под тканью, покоилась мёртвая. Затем шёл доктор. Замыкал процессию

чудотворец, на улице снова сделавшийся неприметным, жалким, тусклым – зачем ему понадобилось идти, никто толком не знал, однако же и возражений никаких не последовало.

У самой фабрики встретили Андрея Михайловича Лигнина. Вероятно, он умудрился забрести сюда во время очередной своей беспцельной прогулки. В тот самый момент, когда доктор приветствовал его, носилки в руках двух мужчин накренились – совсем немного, но достаточно, чтобы слетела простыня. Обнажилось тело. Истончённое и жёлтое, оно было как будто соткано из подгнивших верёвочек – те переплетались, образуя хилые мышцы, а сверху покрыты были тонкой, рваной марлей, в которую превратилась кожа несчастной сразу после смерти. Лигнин в беспамятстве устался на мёртвую женщину, да такими страшными, остекленевшими глазами, словно и сам уже мёртв. Врач поинтересовался, всё ли с ним в порядке, но тот испуганно замахал руками да, шагаясь, побрёл домой. Многие в городе поговаривали, что Андрей Михайлович сходит с ума от невыносимого одиночества и возложенной на него ответственности, с коей в силу душевной слабости справиться не способен.

Между тем расчистили немного пепел от прежних, так что он бело-серыми хлопьями повис в воздухе, разожгли печь, некогда предназначавшуюся для обработки металла, подготовили тело к сожжению и отправили в жерло. Тут же из трубы повалил дым, с розовой окраской от заката.

А закат выдался совершенно необыкновенный – яркий, чистый, даже как будто терпкий. Создавалось впечатление, будто всё небо покрыто аляповатыми разводами от пролитого вина, и даже запах стоял кисловатый, резкий – нечто вроде смеси забродившей черемухи и сырой плесени. Солнце скрылось почти полностью, лишь у самого горизонта, внизу, до сих пор виднелся краешек, красной полосой. От этой полосы закат растекался ввысь, постепенно растворяясь в темнеющей синеве, а на земле валил ядовитыми клубами дым, на земле танцевал пепел. И казалось, будто всё это великолепное марево именно из дыма рождается, будто мёртвая плоть не разрушается, но, сгорая, дарит жизнь чему-то неуловимому, случайному, божественно прекрасному. Воистину, красота из пепла.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Растекается

Красота из пепла. Красота вместо пепла, елей радостей вместо надрывного плача, а что же, что же вместо унылого духа? К слову, ни о какой красоте у пророка, кажется, не упоминалось, а заявлены были лишь украшения. Украшения вместо пепла – совсем не то [24].

О, когда отец Тимофей глядел на закат, вздымающийся из облака дыма и пепла, мысли его совершенно смешались. Он тут же вспомнил книгу ветхозаветного пророка, да позабыл, что же там предлагалось

вместо унылого духа – ему даже почудилось на миг, будто в ответе на данный вопрос кроется разгадка и разрешение всего. Тем упорнее память прятала этот отрывок от его мысленного взора.

Священник смотрел на закат, священник пожирал глазами разлившийся перед ним небесный напиток, отплёвываясь от гари, от белой пыли, от отвратительного запаха сгорающего трупа, замороженный, полностью ушедший в себя, так что снаружи – лишь стеклянная поверхность глаз, отражающая, впитывающая да отстранённо любующаяся. Вскоре он уже вовсе не видел никакого заката, принялся судорожно размышлять. Мысли всё лезли обрывочные, никак не связанные – схватись за одну, но тут же, не докончив, берёшься за другую, мимолётную, пришедшую как бы извне.

Хватаешься за красоту, хватаешься за пепел. Чем они отличаются? По сути, ничем, ибо состоят из одной и той же ткани, так что красота, подверженная воздействию пламени, обращается пеплом, а пепел, потревоженный ветром, становится красотой. Где же тут закономерность, где ответ? Следует признать абсолютное равноправие прекрасного и уродливого, живого и мёртвого, мыслимого и действительного – всех крайностей на свете, ибо если края их и границы разрушились, растеклись, то какие же это крайности? Нет, они давно стали ненужной плотностью, единым фоном для хищного оскала и крохотных искорок. Но почему вдруг противоположности слились в общий мрак, свергнув всяческие понятия? Что ж, вероятно, такова специфика здешнего мира – он живёт и гниёт одновременно (как всякая система, верно?), подверженный в равной степени энтропии, возрождению, всякому ветру. Что делает материя в каждый произвольный момент времени? Живёт – да. Разлагается – да. Жизнь существует за счёт разложения, жизнь и есть разложение – давно пора это признать. Мир существует, без сомнения, мир даже может существовать вечно из-за постоянного притока новых жизней – оттого нисколько не легче, ибо эти новые жизни приходят вследствие разрушения старых, дабы временно подёрнуться и последовать примеру прежних, бывших до них. Всякая же отдельная жизнь, жизнь отдельного человека, есть разложение – и она сама, и её носитель оскудевают со временем.

Примерно так рассуждал отец Тимофей перед лицом заката. Впрочем, когда он вернулся наконец во внешний мир, солнце успело скрыться, унеся с собой весь спектр красного, так что повис совершенный мрак, иногда прерываемый короткими вспышками голубоватого свечения – эти вспышки ночью не редкость.

– Отец Тимофей, пора возвращаться, – сказал доктор, указывая трясущейся рукой в сторону нагромождения, в которое разрослось местное кладбище, и далее – города, задавленного темнотой и болезнью.

– Нет, я останусь, – священник махнул рукой, давая понять, что дело решённое. Однако врач не являлся чуткой натурой, к тому же, груз ответствен-

ности перед мёртвыми стал мешать ему понимать живых. Он принялся доказывать, что оставаться здесь может быть опасно, уговаривал пойти с ними. Тогда Тимофей, ни на кого не глядя, двинулся в сторону пустыря. Процессия, ясное дело, отправилась в сторону поселения, и доктор последовал за ними.

А священник всё бродил, метался, пребывая в прежней своей рассеянности – той самой, особого рода. Ему теперь предстояло сделать выбор. О возможности такого выбора он, конечно, задумывался задолго до слов чудотворца, слова же чудотворца наглядно продемонстрировали, что ждать более нельзя. Таким образом, всё непременно должно было решиться сегодня ночью.

Шпарили мысли нескончаемой чередой, бились внутри головы, подобно издыхающим рыбам, выброшенным на берег, и, так же, как рыба, выброшенная на берег, ни одна мысль не существовала слишком долго – так, подёргается в тщетных попытках завладеть сознанием да испустит дух. Само же сознание представляло из себя нечто потустороннее, почему-то вовсе не принадлежавшее ни отцу Тимофею, ни кому-то иному – свободно парило в дымке неразличимостей, пробиваясь сквозь неё к сути, причём, пробившись, оно всякий раз ничего не обнаруживало, но, не в силах признать, что в окружающем сумасбродстве, хаосе причин и никак не связанных с причинами следствий, никакой сути нет, возвращалось в голову старика, вырывало из реальности очередной мимолётный пейзаж, очередную вспышку, новую едва заметную мелочь, коей, к слову, могло вовсе не иметься, да вновь устремлялось на поиски. Слишком воспалено было сознание, слишком беспокоило, что не удивительно, ведь его поставили перед возможностью небытия, перед чересчур очевидной перспективой того, что этой ночью оно может исчезнуть, ничего совершенно после себя не оставив, и никакой вечности. Как там? Пока нет оправдания – нет вечности, а хоть сколько-нибудь приемлемого оправдания, увы, не было.

Да и как оправдать разом целую жизнь, жизнь бесполезную в любом случае? Ибо, если ничего в мире не имеет смысла в силу перманентного разложения не только и не столько материи, но также и духа, тогда всякая жизнь не может быть оправдана в принципе, она – суть результат хаотических переплетений змееподобных случайностей. Если же, несмотря на всю мерзость, на гниение, дух хотя бы в определённой степени способен сохранять целостность, тогда жизнь отца Тимофея, добровольно вставшего на путь распада, уж точно не может быть оправдана. Так как же? Неужто, несмотря на наличие выбора, никакого выбора нет?

О, сколько вопросов! Тьма в реальном мире, тьма в мире мыслимом – повсюду, во всех возможных проявлениях реальности царил непроглядная ночь! И в этой ночи отец Тимофей видел себя в собственной голове. Внутри он стоял на коленях в совершенном мраке, прерываемом хищными осками да лукавыми искорками, этим же мраком создаваемыми ради развлечения, и кричал, кричал бешено, безумно, во

всю глотку, так что глотка разорвалась, расширилась, превратилась в огромную пещеру, изрыгнула из себя всю бездну мира и поела теперь своего же обладателя – так обстояли дела внутри. Снаружи Тимофей не смел кричать, испытывая страх – он просто брёл, куда глаза глядят, а глаза его порою во все никуда не глядели, так что пробирался вслепую, от вспышки до вспышки странного сияния.

За что бы ни схватился разум, всё растекалось, нигде не находилось твёрдой опоры. Либо поблизости, да вообще повсюду, не имелось ничего стоящего, ничего основательного, либо священника обманывали собственные глаза. Насколько в принципе способны обманывать глаза? Полно, да могут ли? Зрение – лишь увлажнённый посредник, лишённый страсти и предвзятости, оно не должно лгать. С некоторой долей вероятности (и значительной!) справедливо утверждение, что не только всё, что видит любой человек, но даже всё, что он в принципе способен увидеть – заранее реально, тем более в таком мире, где молекулы движутся крайне хаотично, одна форма беспрепятственно перетекает в другую и в любой момент способна превратиться в то, что кто-то желает в ней признать. Всё зыбко, нестабильно, готово обрушиться, пасть, подобно пелене. И что же – спрашивал Тимофей – что же останется, когда бесполезная пелена будто бы реальных событий, вещей, лиц, причинно-следственных связей спадёт, обратится пеплом? Что откроется за ней? О, вероятно, ничего, то есть ничего совершенно там нет – пустота. Но, быть может, Бог? Быть может, там, за этой настёрной, слепящей пеленой, скрывается Бог, и стоит только обрушиться всем сомнительным вещам, он явится пред нами, добрый, всепрощающий, могущественный? А что, если только эта пелена, им же неумело сотворённая, мешает Ему протянуть руку помощи не только всякому просящему, но также и всякому нуждающемуся, ибо ныне даже старания просящих по большей части тщетны? Что ж, хорошо, если так. Ну а коли эта-то пустота и есть Бог, то есть никакого нет Бога вовсе? Разве возможно смириться с его отсутствием? Но, с другой стороны, нельзя также смириться и с его присутствием. Именно в такое мучительное положение загнал себя священник, положение невыносимое, роковое, располагающее ко всякого рода опасным решимостям.

Без сомнения, там, за той пресловутой стеночкой, мог скрываться принцип, от Бога совершенно отличный, и тем не менее оправдывающий всю эту вакханалию вещей. Вот только представить такой принцип отцу Тимофею не удавалось, он привык думать и чувствовать в рамках определённых понятий. По его разумению выходило, таким образом, что если Бога нет, то и ничего нет. Бога же не было в ту минуту ни с ним, ни вообще в мире (в его, Тимофея, распадающемся мире!), а значит, не было никакой возможности ни оправдания, ни прощения.

Пелена спала только теперь. И что же за ней обнаружилось? Бесы. Бесчисленное множество всевозможных тёмных сущностей, соблазняющих, призы-

вающих к себе, хохочущих, издевающихся над своей жертвой, не по своей воле оказавшейся по другую сторону. Выходит, основу всякой вещи составляет исключительно злой дух? Тимофей спросил их, не есть ли они основа всякой вещи, спросил: кто вы? Ему отвечали: единость, отвечали: множество, отвечали: ты, ты сам.

Не в силах более выносить этого, старик бросился к реке. Верно, она достаточно глубока и достаточно прожорлива, чтобы проглотить его, не поперхнувшись, не выплюнув назад, к жизни, проглотить без остатка, вместе с душой, если таковая субстанция существует – лишь бы ничего более не осталось, никаких мучений. Мучений после смерти отец не выдержал бы. Надо бы опровергнуть вечность, дабы человек мог позволить себе умереть спокойно – надо бы из одного только благородства, из жалости провозгласить вечность не-существования.

Ярко, отчётливо врезается в побелевшую кромку зрачка, затекает в сам зрачок – край берега, как будто разрезанный на части, и, ниже, водная гладь, спокойная, немая, опасно-убаюкивающая. Вода шумит совсем тихо, но в сознании несчастного приговорённого, который сам себя же сумел приговорить, шум этот разрастается неимоверно, превращается в настоящий ураган, в рёв – словно все бесы, вызванные им к жизни, вся чертовщина за спиной ревет, подначивая и прощаясь.

Если не веришь, то не имеешь права простить, даже самого себя простить не можешь – тем более самого себя, это верно. Но разве можно верить в пустоту, где копошатся да совершают мерзкие оргии демоноподобные твари, в зияющую рану посреди всего сущего? Никак невозможно. А коли так, ну что же, терять особо нечего, верно?

Тимофей подыскал подходящий камень, чтобы его можно было поднять, сделал двойную петлю из пояса от рясы, один конец натянул себе на тощую шею, другой обмотал вокруг камня (коли так, ну что же...) и приготовился прыгать, да вдруг что-то произошло, что-то как будто почувствовалось.

Остановился у самого края – божественное ли вмешательство то было или присутствие другого человека – неизвестно, однако же (в защиту второго, ради справедливости) мы всегда почти ощущаем нежелательное присутствие, даже если постороннего, нам помешавшего, нет в поле нашей видимости.

Действительно, обернувшись, Тимофей в отдалении увидел Лигнина, зацепился за происшествие как за возможность спастись и ринулся в его сторону, оставив камень на берегу. Лигнин был совсем плох. Сидел на земле и плакал, а когда поднял влажные глаза, дабы рассмотреть подошедшего – в них ничего совершенно не было, никакого осмысления, они даже внешних очертаний не отражали. Быть может, из-за этой-то пустоты он и плакал, собственное опустение оплакивал.

– Это ты? ТЫ? – спросил Андрей Михайлович с ужасом.

– Я, – ответил священник, хотя понимал, что без-

умец обращался скорей всего к какому-то своему видению. – Я.

Тимофей поднял его на ноги, успокоил кое-как да проводил домой. Тогда же он решил поговорить с чудотворцем о том, чтобы каким-то чудесным образом исцелить бедного проектировщика – иерей вдруг осознал, что именно в этом заключается (да и всегда именно в этом заключалась) его навязчивая идея спасения. Спасёшь одного – спасёшь всех. Ах, кабы раньше это понять!

Итак, Тимофей отказался от смерти, схватившись за новую возможность хоть что-то сделать. Он даже вдруг решил, будто таким образом Бог напомнил ему о его предназначении, когда старик едва не совершил самый тяжкий, по мнению некоторых, грех. Явился ли замученному сомнениями человеку вождевленный Бог, или же то была ещё одна хитрая уловка сознания, отчаянно пытавшегося, вопреки воле, а точнее, вопреки сиюминутной решимости своего обладателя, противиться небытию – неизвестно. Неизвестно также, от страха ли или возрождения веры отказался Тимофей от последнего шага, который опрокинул бы его в бездну, слил с бездной и сделал её составляющей частицей, бесплотной, бесплодной, однако с тех пор на некоторое время отец вроде как излечился, избавился от сомнений, от вины, ибо и сомнения его, и вину поглотила восторженность – так хотелось ему теперь вернуть Андрея Михайловича к жизни! Впрочем, излечение это оказалось скорее невольным притворством, так что по прошествии периода опьянения, обычно бывающего, когда нас посещает особо удачная идея, оно совершенно сошло на нет, уступив место прежнему, воспалённому и мрачному. Раны так просто не затягиваются, знаете ли, в особенности такие раны, которые мы привыкли сами же ежедневно беречь, расцарапывать, пускать кровь, наивно надеясь внутри этих ран отыскать способ их же заживления. Подобные раны нередко гниют, непременно причиняют жуткую боль, порою убивают медленно и мучительно, смакуя и ширясь, непомерно ширясь до размеров всего тела, но никогда почти не затягиваются.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Трагические события

1.

Одиннадцатого июля, в день Троеручицы и накануне Великого праздника славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, епископ Теофил вынужден был рассматривать некоторые насущные вопросы, связанные с предстоящим событием [25]. Разумеется, многие решения, касательно предполагаемых церемоний, мест проведения особо торжественных служб, состава священников, коим следует поручить проведение этих самых служб, почётной публики, приглашённых ктиторов, благотворительных деяний от лица Церкви и прочего и

прочего, были уже окончательно приняты, утверждены; завершены также почти все приготовления. Однако известно, что при претворении в жизнь столь значительного замысла всегда возникают неожиданные трудности, требующие незамедлительного вмешательства.

Викарий, коему предназначалось провести богослужение в столице, в храме Преображения Господня, расположенного на центральной площади, вдруг заболел. Сам же Теофил накануне ещё устроил всё таким образом, дабы в день праздника отправиться в селение за рекой, посетив по пути также прочие близлежащие деревни.

По большому счёту, никто совершенно не мог взять в толк, почему епископ вместо того, чтобы провести торжественное богослужение в крупнейшем столичном храме лично, поручил это дело тихонькому викарию, настолько нервозному и робкому, что, по всей вероятности, он и заболел-то лишь от возложенной на него ответственности. Люди, достаточно знавшие Теофила, ни в глупости, ни в отсутствии расчётливости обвинить его не смели, потому вполне справедливо полагали, что хитрость владыки на сей раз чересчур тонка для их ограниченного понимания. Говорили только, будто причина кроется во всё ухудшающихся взаимоотношениях между епископом и местным викарием, и архиерей таким образом пытается представить своего недруга в крайне невыгодном свете. В самом деле, Теофил не мог не предполагать, что от подобного поручения у беспокойного старика, с коим они не сошлись во взглядах, случится нервный припадок, причём именно накануне праздника, когда напряжение достигнет наконец апогея.

Но уловка или, если угодно, схема, выдуманная епископом, оказалась значительно более сложной, ибо при помощи неё следовало решить разом три проблемы, а то и чуть больше. Столь нелепое назначение действительно объяснялось их с викарием давней неприязнью, вызванной в первую очередь кардинальным различием позиций в вопросе роли церковной системы (посильная помощь страждущим с трудом уживается с надзирательством). Епископ надеялся в некотором роде скомпрометировать противника, обнажив перед паствой отсутствие у того всяческих способностей. Однако, и это тоже в рамках плана Теофила, неизбежно возникал вопрос: если викарий так неожиданно, к общему сожалению заболел, то кем заменить его? Замена должна быть произведена так, чтобы вышел небольшой скандал в рядах покинутых прихожан, то есть представить её следует в самый последний момент. Такая задержка, с одной стороны, усилит недовольство властей и верующих нынешним викарием, с другой же, покажет лицо заменяющее едва ли не в облике спасителя (спасителя церемонии, по крайней мере). Но кого же подобным способом вознамерился облагодетельствовать архиерей? Уж не себя ли? Нет-нет, с его стороны это было бы проявлением дурного тона, игра слишком грубая, слишком очевидная — грубой игры да примитивных ходов епископ не переносил,

ибо не получал от их исполнения никакого удовольствия.

В решающий момент Теофил пожелал отдать бразды правления отцу Павлу, и на то имелись причины. Чудо, подделанное священником, в столице благодаря молве да человеческому воображению приобрело гораздо более высокое значение, нежели то было на самом деле. Жители Города, в отличие от деревенских, так или иначе сумевших проникнуть в суть явления, относились к Павлу с настоящим благоговением, жаждали увидеть его воочию, припасть как к источнику божественной силы. К чудотворцу же, в отличие от лживого иерея, здесь, в столице, относились с подозрением, да и особенного интереса не проявляли — данный фактор определял весь дальнейший расклад.

Приглашение отца Павла значительно укрепило бы авторитет церкви именно в Городе — к слову, исходя из этого, епископ малость задержал процедуру проверки истинности чуда, хотя окончательно от подобного замысла не отказался. Грубо говоря, Теофил хотел воспользоваться влиянием отца Павла на столичные умы в интересах церкви, а когда тот почувствует всю прелесть своего нового положения, ослепнет от радости — сбросит на самое дно, отлучить. Отлучить Павла надо было как-то назидательно. Для начала подняв.

О, дело ведь даже не в том, что именно натворил этот высокомерный священник (архиерей знал и тех, кто творил вещи куда более ужасные — взять хотя бы скромного монаха из одной северной обители, который периодически травил своего собрата формалином, так что тот всё время болел да покрывался язвами; монах завершил его мучения синильной кислотой, а полученные останки из-за накопления ядов обрели нетленность), дело главным образом в последствиях. А последствия примерно таковы: религиозный восторг в столице сопровождается полнейшим разочарованием на окраинах, ибо там нашлось значительно больше тех, кто видел плачущую икону собственными глазами, и они не в восторге, почуяли неладное, как только пришли в себя после охватившего их вожделения. Приведи выходка Павла ко всеобщему смирению да укреплению духа, как, например, в случае с тем монахом — Теофил прикрыл бы на это глаза. Цель в его понимании всегда оправдывала средства, да только в данном случае цель достигнута не была — а это значит, следует покарать за нечистоплотные средства, ибо тревожить здешнее болотце совершенно ни к чему.

Таким образом, Теофил рассчитывал опорочить неугодного викария, возвысить Павла, дабы торжество состоялось, а затем наглядно продемонстрировать всю чистоту и непорочность, всю непредвзятость церковного механизма, предав того же Павла анафеме и развенчав сотворённое им чудо. Всё необходимо будет представить в таком виде, словно о подделке стало известно только теперь, иначе можно не приобрести, а потерять доверие. Конечно, подобное развенчание посетит уныние в сердцах верующих, но разве уныние и вера не приносят известных

плодов, плодов весьма желательных — тишины да послушания?

Никакими сомнениями, как уже говорилось ранее, Теофил не терзался, в том числе духовными. Только ясность и холодность, да вот ещё изрядная доля лицемерия не повредит, впрочем.

В том, что Павел в последний момент согласится вести службу, епископ нисколько не сомневался — нет, священник коли и заметит подвох, так всё равно согласие даст и побежит, побежит, как миленький, даже если потребует бежать в буквальном смысле, такой кровью харкать будет, а своего не упустит. Необходимо было утром, до посещения деревни за рекой, захватить к нему с радостной вестью. У каждого, в конечном счёте, есть что-то такое, что субъективно важнее его самого. Для Теофила это идея надзирательства и единства, единоверия, для Павла — власть, что, в сущности, практически одно и то же.

Разумеется, столь высокое доверие лживому священнику могло вызвать недовольство некоторых деревенских, и кажется, будто со стороны епископа гораздо разумнее было бы провести торжественное богослужение самостоятельно. Однако так может показаться лишь тому, кто глядит поверхностно, ибо в близлежащих селениях возникла проблема, требующая вмешательства непосредственно архиерея, вмешательства осторожного, хитрого — чудотворец. Потому поездка в богом забытый посёлок была совершенно оправдана, причём именно в день праздника, в качестве демонстрации искреннего участия Теофила в судьбе этих незначительных, по большей части непригодных людей. Непригодные-то они, положим, верно, но ведь епископу был важен каждый человек — в качестве религиозной единицы, разумеется.

Назойливый самозванец (он как кость поперёк горла! Разрушает отлаженный механизм покорности, будит непозволительные желания!) провёл сомнительный спектакль, на котором сделал-де женщину красивой, именно в селении за рекой, потому слухи, расплывшиеся по окрестностям, нельзя разрушить разом, извне, увещеваниями да обвинительными речами. Здесь необходимо поступать соответственно, то есть посеять зерно сомнения там же, где произошло чудо, опорочив, выставив в дурном свете ту, коей все поклонялись.

Кроме того, в отказе Теофила от проведения торжественного богослужения на центральной площади заключался определённый вызов городским властям. Власти, падкие до внешних эффектов вообще, настояли на инициативе устроить главную церемонию в храме Преображения Господня (из-за того, что здание большое и новёхонькое), тогда как у северной окраины столицы расположен один из старейших храмов, названный в честь апостолов Петра и Павла, что гораздо более соответствует характеру праздника. Епископ изначально намеревался провести пышное богослужение там, добившись предварительно средств на реставрацию сооружения возрастом более трёхсот лет (реставрация планировалась весной), однако средства выделены не были,

проводить же церемонию в стенах древней развалины хотя символично, но никак не приемлемо.

Тем не менее, архиерей понимал, что немалая часть верующих, не отличавшихся любовью к дорогим убранствам, отправятся именно туда, потому назначил службу также и там (отменив, впрочем, вседневное бдение) да отдал распоряжение привести здание в надлежащий вид. Потому перед тем, как отправиться сначала к отцу Павлу, затем в селение за рекой, он счёл необходимым, несмотря на тёмное время суток (близилась ночь), посетить отдалённый храм, дабы удостовериться, что все приготовления сделаны.

Вопрос, понимал ли Теофил, что вся его великодушная схема могла не только развалиться при малейшем несовпадении, но, даже будучи исполненной верно, последовательно, привести к результатам, прямо противоположным ожидаемым, в силу некоторых обстоятельств остаётся открытым. Вероятно, он уповал на божью помощь, как в случае, когда требовалось отправиться в город, заражённый неизвестной лихорадкой.

Впрочем, при всём уповании, в Бога он как следует вовсе даже не верил. В его узком, практическом, исключающем всяческие сомнения понимании Бог являлся чем-то вроде внутреннего духа церковного организма, не более. По мнению епископа, до тех пор, пока он поступал в соответствии с надобностями этого прихотливого организма, вместе со смертью которого непременно умер бы и Бог, успех был гарантирован ему при самых ненадёжных чаяниях и расчётах.

2.

Храм, куда отправился Теофил, был построен в форме креста, если смотреть на него сверху. Некогда его украшали лишь весьма скромный, облупившийся купол, расположенный по центру, да остроконечные башенки, установленные на крыше каждого крыла. Башенки эти, покрытые сверху ржавого цвета черепицей, прежде представляли немалый интерес с точки зрения древнего зодчества, ибо в каждой имелось по два углубления, в углублениях же помещались витиеватые барельефы, изображающие рождение Христа, восхождение его на крест, воскресение, Нагорную проповедь с учениками и прочее — все библейские сюжеты, умело выгравированные на поверхности камня да покрытые охрой и позолотой. Увы, городские власти были чересчур падки на блеск, величие, помпезность, потому в угоду им и по плану улучшения застройки башенки изуродовали до неузнаваемости, около трёх или трёх с половиной лет назад. Их сделали выше, сняли устаревшую черепицу, увенчали золотыми куполами в форме луковиц — на фоне таких дополнений барельефы стали совсем блёклыми, неприметными. Центральную башню также расширили и увеличили, внутри обустроили колоколенку, прежний купол заменили, потому теперь храм раззолоченными своими, разъявленными куполами упирался в самое небо, про-

тыкал его высоким шпилем, терзал заострёнными лапищами крестов. При этом, поскольку полная реставрация здания не предполагалась, кроме сияющих верхушек ремонтировать ничего не стали, придав старейшему в Городе храму вид весьма нелепый, ибо средняя часть его вся пошла трещинами и нуждалась в перекройке. В целом строение напоминало остов погибшего корабля, выброшенный на землю, изъеденный сначала водой, потом ветром и временем, башенки же выглядели неуместными коралловыми наростами, оскверняющими древнее тело.

Вся территория храма, довольно обширная, была окружена каменным забором с одними литыми воротами, две части которых, соединяясь при закрытии, изображали райские кущи — по крайней мере, все завитки и прорези имели форму листьев или веток, так что вместе выходило подобие трёх пышных деревьев с раскидистыми кронами и тощими стволами. Во дворе также росли деревья, в совершенном беспорядке, так что в одном месте слишком мощные корни проделали брешь в заборе (немудрено, он, подобно самому зданию, давно отжил свой век, в камне образовались заметные трещины, подчас сквозные, в иных местах целые куски забора отломились и лежали теперь в траве, постепенно обрастая мхом), и всякий при желании мог беспрепятственно проникнуть на территорию. Однако до таящейся в этом опасности дела никому не было, и даже Теофил на средства от пожертвований предпочитал строить новые церкви, а не восстанавливать уже имеющиеся, находящиеся в аварийном состоянии, убеждённый, что это забота городских властей. Власти же прекрасно понимали, что та часть Города, на которой стоял храм апостолов Петра и Павла, является опустевшей окраиной, отмирает, всеми покинутая, а какой толк вкладывать средства в нечто разрушающееся, ведь при том же вложении в нечто уже процветающее выгода значительно больше.

Храм стоял у северного края местной столицы, и то лишь если следовать карте. В действительности же он давно был вытеснен за реальную городскую черту, так как от ближайших жилых застроек его отделяла полоса зарослей да заброшенных руин, растянувшаяся почти на четыре километра, единственной же связью являлась разбитая дорога. Все предприятия, некогда функционировавшие в этой части Города, были закрыты либо перенесены, потому жители переселились в более процветающие районы. Несколько раз в год местность навещали верующие — по особенно торжественным датам им непременно хотелось посетить старейший храм, в остальное же время — ничего, совершенное безлюдье. Дальше, за территорией столь значимого строения, твёрдая почва плавно переходила в заболоченные участки, затем — в непроходимые топи, протянувшиеся на много километров в северном направлении. А уж там — одна промёрзшая земля, оттаивающая на три только летних месяца (да и она летом обращалась в болота) и крохотные, ещё более жалкие, чем здесь, деревни поселенцев, из которых чуть ли не все являются мёртвыми селениями, представляющими из себя гнилое скопище брошенных домишек вперемешку с запущенными могилами... и

больше ничего, ничего. Места призрачные, почти несуществующие...

Теофил отпер ворота (скрип ворвался в голову, раздробив непроницаемую ночную тишину), направился к храму. Во мраке здание выглядело огромной каменной глыбой, увенчанной пятью остроконечными башнями, с узенькими прорезями, излучающими свет — средневековый замок, не иначе. И хотя построено оно было тогда, когда эпоха Средневековья считалась вполне завершённой, подобное сравнение выходило наиболее удачным, по крайней мере в тёмное время суток.

Под ногами хрустело — тропа, ведущая к крыльцу, усыпана была ветвями, отломленными ветром, да ссохшимися, запёкшимися листьями, погубленными небывалой жарой. Той ночью небо не потревожили ни луна, ни звезды — только из оконцев храма лился мерный, тусклый свет.

Теофилу вдруг стало не по себе. Ночная прогулка настроила его на иной лад, заставила думать о вещах, о которых он вовсе никогда не думал, возродила воспоминания — точнее, только попыталась возродить их, неудачно, ибо епископ осознал, что всё прошедшее покрылось плотным туманом. Слишком часто он попускал злему ради того, что считал благом, и в конце концов всё смешалось, не стало злого, не стало блага — ничего-то не осталось в душе. Так что, несмотря на пустой, высокомерный и как будто правдивый ответ Тимофею, уж кто-кто, а Теофил наверняка знал, что общего у света с тьмой, ибо он сам — наглядное доказательство их нерушимого союза.

А свет, пробивающийся сквозь витражи храма, изредка подёргивался, словно от какого-то движения, словно кто-то суетливо копошился внутри здания, суетой своей подражая крысиным повадкам.

Заметив это, заметив тени, пляшущие в окнах первого этажа, архиерей ускорил шаг, добрался наконец до входа, миновал душный притвор, оказался на пороге помещения, предназначенного для молитв и богослужений. Иконостас, без того довольно бедный, был разобран, всё кругом перевёрнуто вверх тормашками, осквернено, разворовано. В дальнем углу, у ограждения, защищавшего Царские Врата от предполагаемого напора прихожан, трое бродяг собирали остатки церковной утвари, по большей части ни на что не годной (даже для продажи).

— Что же вы такое творите! — позабыв обо всём, прежде всего о собственной безопасности, крикнул епископ. Исполненный праведного гнева, двинулся прямо на них, впрочем, совершенно не представляя, что же делать дальше. Почтенного старца тут же сбили с ног, пригвоздили к полу. Падая, ошеломлённый Теофил успел заглянуть в лицо одному из осквернителей — глаза его, застланные белыми волосами, были черны, как уголь, и в них как будто сияли искорки. Распластавшись, Теофил ударился головой, перед ним всё поплыло, а искорки в глазах незнакомца почему-то превратились в крошечные человеческие фигурки, совершающие некую безумную, неопределённую пляску. Затем епископ по-

терял сознание. Следующее, что он увидит — мир, извивающийся перед его взором в ужасающих судорогах, тёмный мир, лишённый воздуха, застланный кроваво-рыжей пеленой.

Неподвижное тело бродяги потащили назад, к воротам, ведущим прочь с территории разграбленного храма. У самых ворот остановились. Один извлёк откуда-то из-под одежды верёвку, весьма ловко сплёл из неё двухстороннюю удавку, один конец накинул на горло Теофила, так и не пришедшего в себя. При этом кожа на шее страшно натянулась, как будто вот-вот начнёт пузыриться, лопаться, под подбородком же собралась тугими складками.

Верёвку перекинули через забор да стали тянуть до тех пор, пока тело не повисло таким образом, чтобы ноги не касались земли. Тогда вторую петлю, сделанную на противоположном конце верёвки, прочно прикрепили к стволу ближайшего дерева. Тут только Теофил, от боли и недостатка воздуха, очнулся, принялся биться, извиваться, пытаясь каким-то чудесным образом выскользнуть из петли. Перед глазами, готовыми вылезти из орбит, налившимися кровью, стелилось красное, а ночная мгла как будто покрылась мелкими разрывами, сквозь которые проглядывала мгла ещё большая, совершенная, твёрдая. В последнее мгновение все предметы открыли перед умирающим истинную природу, обнажили внутреннее содержание своё, довольно неутешительное...

Почтенный епископ умер весьма нелепо. Череда случайностей привела его к столь печальному исходу, разрушила все стройные, хитроумные планы, а кроме того, омрачила предстоящий праздник (впрочем, это последнее обстоятельство Теофила уже не касается). Скорей всего, бродяги, окончательно потерявшие человеческий облик, даже не подозревали, кто именно стал их жертвой. Можно предположить, что, если бы архиерей назвался, никто из них не осмелился бы напасть на него. Но что-то с ним случилось в ту ночь, разум, никогда прежде не подводивший, затуманился от совершенно несвойственных эмоций, и вместо того, чтобы, будучи незамеченным, отправиться за подмогой, епископ двинулся напрямик к своей гибели — что ж, всякий человек рано или поздно оступается, идёт на поводу доселе неведомых, незнакомых, но слишком сильных чувств. Возможно также иное объяснение — то была своеобразная воля неизбежности, если, конечно, в мире вообще существует неизбежность.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Лигнин

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Льётся...

— Я в пещере. В пещере, — пробормотал Лигнин, проснувшись, и тут только пришёл в себя. Сел. Некоторое время всё вокруг казалось невозможно да-

лёмким, словно предметы намеренно прятались, убежали от человеческого взгляда. Затем разрозненные, расплывчатые куски материи, из которых состояла реальность, собрались воедино, и, прорвавшись сквозь туман, Лигнин обнаружил себя в собственном доме, в комнате умершей сестры. Сон никак не желал отпустить — всякий глубокий сон прилипчив, всякий норовит навязаться; претендует на место единственного, хотя сумасбродного, мира, одурманивает и влечёт. Однако на сей раз ему пришлось отступить мгновенно, ибо мысль, что некогда в постели находилось мёртвое тело, разрушает сонливость.

Реальность представляла собой нечто шуршащее, отвратительное, тесное.

Андрей Михайлович почувствовал, как горло его сжалось от тщетных, но настойчивых потуг тошноты. Он подавил спазмы, поднялся с кровати, невольно отряхиваясь.

Во время сна совершенно взмок, потому без одежды начал замерзать, несмотря на духоту. Отыскал одежду, кое-как натянул её на себя, орудия тяжёлыми, онемевшими конечностями, выпил воды, чтобы избавиться от саднящей боли в горле, и наконец вспомнил, что очнуться его заставила какая-то назойливая, монотонная мелодия, и даже странно, что после пробуждения мелодия эта превратилась в обыденный, неинтересный фон.

Прислушался.

Пространство вокруг действительно было наполнено водянистым шелестом. По крыше стучало. Там, снаружи, шёл дождь. Внутри дома, этажом выше, тоже что-то плескалось — вероятно, настил протекал.

Андрей Михайлович поглядел в окно. Оно было затянато сплошной, жирной плёнкой воды, разрываемой новыми потоками, бьющими по стеклу и карнизу. Дождь неистовствовал, бурно врываясь в жизнь поселения, нападал на непрочные постройки, отчего те выглядели зыбкими, даже иллюзорными, заполнял трещины в земле долгожданной влагой. А земля исходила пеной и грязью, земля стонала и разбухала от удовольствия. Лило почти стеной, обрушивалось, сметая все препятствия — вдалеке виднелись деревья, крестообразно друг на друга поваленные. То было желанное, но вероломное нападение, заставшее посёлок врасплох.

Лигнин даже не имел твёрдой уверенности, можно ли устоять под столь беспощадным натиском. Однако же именно этот вопрос он и собирался разрешить в ближайшее время, тем более, что оставаться в доме в последние дни, ночи и особенно ночью нынешней стало невыносимо. Возникло ощущение, будто стены постепенно сближаются, отвоёвывая пространство. Сближаются, подгоняемые инстинктивной потребностью либо вытеснить, либо раздавить зажатого между ними обитателя — настолько им противен вид живого человека после мёртвой, ссохшейся плетёной куколки, покоившейся здесь до приезда чужака. Стены и бесы (последние могли появиться в любой момент, сняв маски действительности) были заодно.

Эти неумолимые монолиты, вся обстановка целиком давно уже вызывали у Андрея Михайловича спазмы. Несколько раз он порывался вновь уехать, но не мог в силу противоестественного, предательского нежелания сдвинуться с места. Спазмы, впрочем, давали о себе знать нечасто и лишь сегодня проявились в полной мере, не имея возможности разрешиться – желудок был пуст. Что ж, тем болезненнее делались рвотные схватки.

Стены надвигались, тошнота усиливалась, и Лигнин сбежал. Вырвался на улицу, под сумасшедшую бурю, разродился громким, буйным криком – сначала от боли (дождь хлестал подобно мокрой плети), затем только от необъяснимого ликования, чувства неограниченной, неприличной свободы.

Одежда его почти сразу насквозь промокла, отяжелела, да и сам он до костей промок (будто плоть его пропиталась, как губка), но, кажется, не замечал того – шёл, петляя, через дворы и дальше, дальше, в направлении пустыря, раскинувшегося со всех сторон от города, подставляя избитое лицо жестоким и вместе с тем приятным дождевым потокам. Смеялся.

Вскоре, не найдя иного способа выразить свою радость, Лигнин побежал, что было мочи, вприпрыжку, нелепо размахивая руками. Кругом простиралась темнота, так что он не знал, куда бежать, двигался вслепую, вгрызаясь в толщу воды и мрака.

Земля под ногами размокла и развезжалась, рвалась подобно кожице на гнилом плоде, обнажая внутренности – корни и камни. Потому Андрей Михайлович дважды проваливался в какую-то колею, затем упал, подскользнувшись.

Несколько минут беспомощно барахтался в луже, будто незрячий котёнок, потом встал на колени и, потакая собственному безумию, принялся руками копать в почве, разбрасывая её комьями. Набирал в ладони грязно-чёрное, жидкое, опрокидывал эту мерзость себе на голову.

Так он приветствовал дождь, убеждённый в том, что пришло избавление, возможность выжить, даже спастись. Многие в селении полагали, будто ливень станет избавлением, уповали на него, жаждали. Если бы полилось днём, наверняка нашлись бы те, кто разделит бы это чересчур бурное веселье, находясь во власти непрременной потребности в чудесах. Дождь в сложившихся обстоятельствах – чудо; чудеса принято приветствовать, отдаваясь чувствам целиком. Но так уж вышло, что была ночь, и крошечный мрак, и время глубокого сна, так что Андрей Михайлович безумствовал в одиночестве.

Под утро он вернулся домой, сопровождаемый стихией, которая хоть и сделалась чуть тише, отступать вовсе не собиралась, и впервые за последнее время заснул спокойно, уверенный, что назавтра всё изменится к лучшему.

А дождь всё шёл, не переставая, так что земля пресытилась да стала выплёвывать жидкость обратно. Захлёбывающаяся река разлилась, проглотив все мосты, что над ней некогда перекинули; волны ринулись на беззащитные берега, так что даже несколько построек разрушило и смыло. Благо обер-

нулось бедой, ибо уже к вечеру следующего дня началось наводнение.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Доктор

На следующий день, двадцатого июня, Лигнин проснулся около полудня. Пожалуй, он проспал бы дольше, потому как никакой особенной надобности вставать у него не имелось, однако же его разбудили падающие на лицо капли воды. Андрей Михайлович открыл глаза, машинально вытер лоб и стал медленно возвращаться к жизни. Сон его в здешних краях почему-то потерял прежние беспокойность, поверхностность, чуткость, превратился в тяжёлое, болезненное забытьё, в совершенное оцепенение, чем-то напоминающее летаргию или смерть, так что всякий раз ему приходилось возвращаться к жизни почти в буквальном значении. Ночные видения обрели вдруг чрезмерную плотность, осязаемость, словно пытались доказать, будто они и есть реальность, а то, что врывается в сознание при пробуждении – нечто призрачное, не наполненное никаким содержанием. Безумное сплетение бесполезных образов. Действительность постепенно теряла свою яркость, чёткость очертаний, покрывалась непроглядным туманом, в то время как сны представлялись обнажённой, не скрытой под внешними оболочками очевидностью. На этот раз Лигнину явилась покойная сестра, правда, выглядела она так, словно вышла из жерла печи – всё тело было обглодано пламенем, лицо обугленное, чёрное, глаза же белые и непомерно большие, как будто лишённые век.

Лигнин отмахнулся от назойливого видения (о, бесполезно – оно чеканными нитями врезалось в растревоженное воображение и стояло теперь перед глазами, тусклое, но весьма отчетливое), поднялся с постели и обнаружил, что потолок прямо над ним протекает. Вода просачивалась со второго этажа сквозь подгнившие части досок, щели и пустоты, выеденные насекомыми, по капле падала на кровать, проникала в ткань, заполняя незаметное пространство между волокнами, скапливалась тёмными разводами на подушке и простыне. А с улицы доносился монотонный шелест – значит, дождь идёт по-прежнему. Где-то наверху, в доме, тоже плескалось.

Необходимо было подняться на второй этаж, дабы установить, где именно протекла крыша, однако лестница рухнула ещё в феврале. Лигнин вышел из тесной комнаты, чтобы осмотреть развалины – вполне возможно, путь наверх всё же отыщется. Миновал ряд крохотных помещений, назначение коих осталось невыясненным (вероятно, кладовки для хранения еды и прочего) и оказался у нагромождения того, что прежде являлось ступенями. Когда лестница ещё соединяла ярусы, у неё имелся небольшой изгиб, явно претендовавший на некоторую винтообразность, однако под ним не установили никакой опоры, потому конструкция, опрокидываясь, как раз в месте изгиба переломилась пополам.

В потолке, прямо над деревянными развалинами, ширилось огромное квадратное отверстие, некогда служившее лестничным проёмом и, соответственно, входом на второй этаж. Там, на втором этаже, проём был с трёх сторон огорожен досками, выстроенными вплотную в ряд наподобие забора. С четвертой стороны раньше крепилась лестница, потому ограждения не было. Теперь оттуда стекала вода, образуя три или четыре тонких струны: достигая пола, струны разбрызгивались, издавая тот единственный звук, который умели – что-то наподобие чересчур обильного плевка. Пол внизу залило тёмной продолговатой полосой. Лигнин расположился прямо под проёмом и посмотрел наверх. Часть чердачного перекрытия, открывшаяся его взору, была сухая, течь образовалась где-то в другом месте. Допрыгнуть до потолка, в то же время являвшегося полом второго яруса, оказалось невозможно, даже если встать на обломки лестницы – конструкция под ногами вся ходила ходуном. Один раз, впрочем, Андрею Михайловичу удалось схватиться за кромку проёма, но пальцы его от сырости всё равно соскользнули (на подушечках остались только разбухшие кусочки дерева, не больше хлебных крошек, да несколько водянистых вздутий – капли воды и капли смолы). Оставалась надежда, что в доме найдётся стремянка, иначе первый этаж может совершенно затопить.

Когда Лигнин собирался вернуться в комнату, в дверь постучали. Андрей Михайлович помедлил немного, гадая, кто бы мог прийти, и открыл. При этом в прихожую ворвался шум дождя.

Снаружи лило сплошным потоком, так что дальше двора ничего нельзя было разглядеть. На пороге стоял доктор, в насквозь промокшем плаще. Крыльцо под ногами посетителя приобрело цвет прогнившей плоти – почти чёрный, с зеленоватым оттенком – и трещало от влаги.

Лигнин поприветствовал гостя и предложил войти.

– А я решил вас проведать, – сказал доктор, снимая верхнюю одежду да выжимая из неё воду, так что вода оплела его руки тонкими нитями. – Узнать, как ваше самочувствие, коли вы всё дома сидите да никуда не выходите. Сегодня, в связи с погодой, вообще-то всех надо обойти, проверить, не обнаружилось ли симптомов каких неприятных.

– Мы можем пройти в комнату. Или на кухню.

– Давайте на кухню, – врач разулся и последовал за хозяином, оставляя за собой мокрые следы.

Вошли в крохотный тёмный закуток, разделённый обеденным столом на две узкие половины – перейти из одной в другую можно было, протиснувшись между краем столешницы и стеной. В помещении, кроме прочего, находились также умывальник, подвешенный к потолку посредством верёвки, горелка, несколько тазов и кипяtilьник. Стены, не покрытые обоями и вообще никакой приличной облицовки не имевшие, представляли из себя голый деревянный сруб. В двух дальних углах, сверху, ошмётками висела паутина, которую, кажется, вовсе никогда не убрали.

Лигнин предложил гостю сесть, сам принялся готовить чай.

– Прежде всего, Андрей Михайлович, я хотел спросить, нет ли у вас особенного рода слабости, не беспокоят ли судороги, головные боли или, не дай бог, видения всякие, вроде чертей или умерших?

– Нет, ничего этого нет. Умершие только снятся иногда. Вы считаете, я мог заразиться лихорадкой?

– Здесь любой может заразиться, вне зависимости от того даже, общался ли он с больными. Вы, например, общались, значит, риск повышенный, но это опять же ни о чём не говорит. Мне просто нужно проверить, попытаться предотвратить болезнь в самом начале.

– И что, вы можете предотвратить болезнь в самом начале?

– Нет. До сих пор ни разу не удавалось...

Лигнин тем временем сделал чай, разлил в две кружки и сел за стол.

– Что вообще с лихорадкой? – спросил он с оттенком едва скрываемого безразличия. – Динамика не пошла на спад?

– Не пошла, а в связи с дождём, я боюсь, и вовсе возрастет. В сырости любые микроорганизмы, любые инфекции развиваются особенно быстро. Ничего хорошего, по моему разумению, от нынешней погоды ждать не приходится.

– Но, мне казалось, ливень пойдёт на пользу посевам, тем, что остались, избавит селение от голода, разве не так? Ведь голод также способствует различным болезням.

– Ливень, Андрей Михайлович, на самом деле уничтожит последние посева, да и запасы тоже уничтожит, и разразится такой невиданный голод, что придётся забивать всю скотину, чтобы хоть как-то прокормиться, а скота, как зерновых же, осталось совсем мало, многие животные уже под нож пошли или вовсе задаром издохли, от обезвоживания. Будет наводнение, неужели не видите? Все улицы, кроме возвышенных, залиты по щиколотку. Уровень воды в реке к полудню поднялся, кажется, на сорок сантиметров против ранешнего, и продолжает подниматься до сих пор. На том берегу, поскольку он более пологий, уже селение затопило, да и у нас с низины, где летом пляж обычно утраивают, все лодки волнами унесло. Я-то здешний климат знаю. Начался так называемый ливневый период, река теперь разольётся.

Помолчали. Доктор сделал несколько глотков из своей чашки, отставил её в сторону. Голова его как-то странно, совсем по-старчески затряслась, словно от изнеможения, внезапно сковавшего шею и всё тело, он поглядел на Лигнина в упор и спросил сдавленно, сквозь хрип:

– А вы знаете, что девочка умерла? Помните, я говорил о ней.

– Да, знаю. Ко мне родители её приходили, уже после всего, просили, чтобы ребёнка предали земле, как подобает. Да только от меня-то ничего не зависит, я их к старейшинам отправил.

– Были вы на похоронах?

– Нет. Я даже не знал, что они вообще состоялись. Неужто дозволили?

– Дозволили, Андрей Михайлович.

– Ясно. Впрочем, ничего удивительного, ведь, я полагаю, гроб был небольшой.

– Небольшой. Я с ней всё время просидел, – старик обхватил голову руками, вероятно, от отчаяния. – Всё то время, что бедняжка мучилась. Она, правда, очень быстро умерла. Да и в сознание редко приходила, в последние дни особенно. Бывало, глазки свои ошпаренные откроет да глядит на всё так мутно, нетвёрдо, и какая-то дымка вокруг зрачка. А взгляд грустный донельзя!

Девочка-то совсем была маленькая, шесть лет ведь только, тело крохотное, хрупенькое – так лихорадка с этим телом быстро управилась, изъела, иссушила, изуродовала. Началось с ног, как это часто случается, затем пошло выше, выше, пока наконец к горлу не подступило. Уж потом шейные судороги напали, она похрипела немного, тихонько так, и задохнулась безропотно, – пока доктор рассказывал, тряска его постепенно усиливалась, так что даже ноги не стояли на месте, притопывали; глаза сделались влажные – со стороны казалось, будто они медленно вытекают. – Но она не очень долго страдала, знаете ли, другие-то больные порою по месяцу лежат без движения или от нестерпимой боли в кататонию впадают, так что никакой совершенно связи у них со внешним миром не остаётся. Такие однажды просто замирают на месте, каменеют, так их и выносить приходится в той позе, в какой они умерли, ибо никакой нет возможности суставы разогнуть да тело в надлежащий вид привести.

Иных же настолько видения донимают, что они всяческое понимание теряют, перестают различать, где кончается сон и начинается реальность, для них всё – один сплошной сон, этакий кошмар. У той девочки видений особенных не было, она по большей части без сознания находилась. Один раз только, очнувшись, сказала, мол, койка под ней загорелась, пламя кругом, жжётся очень. А ведь это тогда уже было, когда у ней тело по самую шею онемело и никаких прикосновений она чувствовать не могла. И вдруг – жжётся. Это всё, впрочем, в голове у неё жгло, вот и представилось. Я в глаза-то ей заглянул тогда, а в них сквозь дымку бесноватую страх пробивается, бьётся, точно птица в клетке, и лицо от ужаса окаменело. А кожа-то на этом лице такая, знаете, тонкая-тонкая, зеленовато-белая да как будто вся в чешуйках каких-то – потрескалась, значит – и выглядит, как крыло бабочки. Кажется, коснешься её, да кожа-то, подобно перламутру, к пальцу прилипнет, вместе с ним от тела отойдёт. Сильно её болезнь перекроила, на свой лад то есть.

Мы тогда водой её облили, терять-то уж нечего было – ну... чтоб показать, будто огонь тушим, а она всё свое: «не помогает, не помогает, всё равно горит!» Благо, снотворное подействовало. Впрочем, на девочку-то последнее снотворное использовал, больше не осталось. Похоронили её на кладбище – оно зря, хоть и сентиментально...

– Почему же зря?

– Потому, что если наводнение хотя бы неделю продлится, землю на кладбище размочит до основания, так что все надгробия опрокинутся, останки, те, что непокрытыми хоронили, да гробы обнажатся, и полная неразбериха будет – большая часть могил безымянными останутся, ибо определить, кто где изначально лежал, никак не получится. Теперь тоже многие могилы без всякого имени стоят – так только, крест один покосившийся. А самое-то страшное, что если заболевание заразно, то источник в мёртвых телах некоторое время сохраняется, продолжает плодиться, и коли землю размочит – вся эта убийственная мерзость окажется в воздухе. Вот тогда кривая так взлетит! Без того вымираем. А ведь мать девочки тоже слегла, вы слышали?

– Нет, ничего не слышал.

– Ну да, откуда вам, взаперти же всё время сидите. Мать долго у могилы сидела, до дождей ещё, от еды отказывалась да плакала, не переставая. Ясное дело, от изнеможения упала в обморок. Только её домой принесли – в постель легла да причитает, хочу, мол, чтоб со мной лихорадка сделалась. Потом дочка к ней являться стала – лихорадка, то есть, в действительности началась. Ныне двигаться женщина не может, к постели прикована – ей больно, а она лежит, знаете ли, песни распевает, от радости.

– От какой же радости?

– Да ведь она убеждена, что после смерти с ребёнком воссоединится. Хотя радость эта всё равно противоестественная, от помутнения рассудка больше. Скажите, раз уж я упомянул, почему вы из дома никуда не выходите после посещения старейшин?

– Мне и идти некуда, – ответил Лигнин. Затем поднялся со своего места, подошёл к окну, принялся разглядывать, как капли бьются о стекло, разбиваются на мельчайшие частицы, разбрызгиваются прозрачными кляксами и стекают вниз, к карнизу; поверхность окна от этого их скольжения делается рябой, неровной, и ничего-то за ней не видно, а только всё мерцает, плывет, двоится. – Я, впрочем, вчера выходил.

– Вам надо устраивать прогулки, Андрей Михайлович, здесь воздух застаивается. А что, как будто где-то плещется?

– Крыша протекает.

– Разве нельзя починить?

– Нельзя.

– Почему вы не уедете отсюда?

– Куда?

– В другой город, хотя бы в местную столицу. Ведь здесь вам совершенно нечего делать, участие же ваше в управлении – лишь видимость, причём старейшины эту видимость даже поддержать толком не способны, ради приличия хотя бы.

– Я не могу уехать. Как ни странно, мне и не хочется. Я ведь много где побывал за последние пять лет, во многих городах останавливался, да только везде всё одно и то же. Одни нищенствуют, существование этих городов есть постоянное прозябание, танец на краю смерти, так что порою удивляешься, почему

в подобных местах до сих пор обитают люди. Другие же, наоборот, процветают как-то слишком, так что по прибытии на человека обрушивается грохот, стрекотня торговцев, гудение, скрипы, стоны и ещё смех, омерзительный такой смех, до тошноты — это земля под ними смеётся. Там иная жизнь, здания необъятны, высоки до небес, и всюду бесконечные потоки транспорта, подобные дымящимся рекам. Но дело по большому счёту не в этом — глупо было бы полагать, будто на свете не осталось мест, сносных для жилья, такие места всегда найдутся. Просто когда человек начинает жить прошлым, грезит лишь о возвращении его — любое событие, любое пространство в настоящем больше ничего не значит, и никакой нет разницы, где находиться. Мне теперь непременно хочется вернуть прошлое.

— Когда Анна Михайловна была жива?

— Да. Надо было увезти их с собой, вот в чём беда. Мне сегодня Аня снилась. Только вся такая тонкая, обуглившаяся, как будто тело её из жерла печи вытащили да душу обратно вдохнули. Она кричала всё время, нечленораздельно, руками размахивала, но сказать ничего не могла, потому что язык... вы понимаете... сторел. Потом протянула письмо, а как только я его взял, и конверт и всё содержимое от моих прикосновений мгновенно рассыпалось, в пыль. Вот точно так же рассыпалось, как иллюзии, как воспоминания. Воспоминания-то ничего человеку не дают. Так, значит, стою я в облаке пыли, что от письма осталась, и понимаю, что никакая передо мной не пыль, а пепел, белый и хлопьями, остывший уже.

Если слишком долго цепляться за прошлое — оно, словно в отместку, отвечает тем же. Рано или поздно твоё прошлое тоже начинает за тебя цепляться, и уж тогда не отпустит. Оно очень липкое, так что в конце концов облепляет тебя со всех сторон, превращая реальность и фантазию в некое единое переплетение неразборчивых образов, и душит, не давая продохнуть, а тебе вроде и нравится, что тебя так сладко, так любвеобильно душат. Нет, я не могу уехать. Не могу вырваться отсюда. Жизнь оскудевает со временем, ничего стоящего, кроме прошлого, не остаётся. А в настоящем — крошечная тьма под каждым видимым глазу предметом.

— Вы рассуждаете, как отец Тимофей. Тот тоже полагает, будто под каждым событием, под всякой вещью скрывается некая незримая тьма, и она-де есть основа всего сущего.

— Разве это смешно?

— Да ведь я не смеюсь, Андрей Михайлович. Но предмет — это только предмет, вполне конкретный, вполне определённый, имеющий границы. И даже если предположить вам в угоду, будто под всяким предметом скрывается тьма, не стоит ли допустить также и тот факт, что над предметом непременно находится свет? Тогда всё вместе — тьма, свет, сам предмет — составит его сущность. Вы разочарованы, потому видите одну только оборотную сторону, изнанку, так сказать. Впрочем, в любом случае, отвлечённые материи ныне интересуют меня не слишком.

— А вы не верите тому, что говорит отец Тимофей?

— Нет, не верю. Здешний священник, увы, несколько не в себе, хотя, по всей видимости, это не мешает ему справляться со своими обязанностями. Я совершенно не против того, что он делает — проповеди, исповеди, молитвы. Если людям подобные действия приносят облегчение, пусть так. В сложившейся ситуации религия является необходимой поддержкой, иначе жители станут тотально сходить с ума. Но однако же, именно такую задачу должен ставить перед собой священник, по крайней мере здесь — поддерживать, а не создавать дополнительную нагрузку на психику, которая без того буквально трещит по швам от неумолимой близости смерти. Тимофей своими рассказами о бесах нагнал такого страха, что даже я порою думаю, что, завернув за очередной угол, увижу нечто невообразимое, демоническое. Кроме того, он наивно полагает, будто та боль, которую испытывают лихорадочные, вызвана не вполне установленными соматическими нарушениями, но происходит от неопределённых душевных мук, хотя язвы и разрывы во всех тканях организма неизбежно указывают на обратное. Впрочем, он и всегда относился пренебрежительно к телесной боли, презирал телесное вообще. Монах с рождения, видите ли. Нет, Тимофей старался исполнять свой долг исправно, это достойно восхищения в любом случае, и, однако же, если не сумасшествие, то некое помутнение рассудка с ним произошло. Помню, совсем недавно его нашли в положении весьма интересном — упал на колени перед нищими, что собрались возле церкви, да обвинил себя в убийстве, прощения просить начал. Когда же его привели в келью, где он обитает — не мог ничего вспомнить, утверждал, что ни перед какими бродягами колени не преклонял.

— Да ведь это он про убийство Дианы говорил!

— Что с того? Да и чего только человеку в голову не придёт, в умопомрачении-то! Не следует его слушать, восприятие слишком воспалено. К слову, я всё больше склоняюсь к мысли, что никакой лихорадки у Дианы не было, значит, и той связи, которую Тимофей отчаянно пытается найти, искать не следует. Дело в том, что лихорадочным во время приступов свойственны обычно абсансы, а их так называемые судороги — всего лишь истерическая дуга, и только потом появляются настоящие судороги, с Дианой же, судя по описанию, случился сложный парциальный приступ, что прямо доказывает эпилептическую природу её поведения.

— Однако же, доктор, даже если Диана не являлась первой жертвой лихорадки, определённую связь заметить можно.

— В чём, по-вашему, эта мифическая связь заключается?

Лигнин перегнулся через стол и прошептал доктору в самое ухо:

— Они все испытывают то же, что испытывала Диана, — потом вернулся на место.

— И что это доказывает?

— Не знаю. Спросите Тимофея.

— Боюсь, у меня нет свободного времени, чтобы тратить его на подобные расспросы. Вероятно, я во-

обще зря распинался, раз предположения отца Тимофея для вас более предпочтительны. Почему вы верите ему? Вы что же, религиозны?

– Нет, не религиозен. Но, согласитесь, некая мистическая связь...

– Мистическая, Андрей Михайлович? Никаких мистических связей в принципе не существует в природе. Вполне возможно, ваше наблюдение верно. Верно и то, что тела усопших в стенах церкви очень быстро хиреют, ускоряется разложение. Чем объяснить данные происшествия? Вероятно, в церкви повышенная влажность, а сходство симптомов довольно частое явление в медицинской практике. Вы хотя бы знаете, сколько заболеваний, коим подвержен человек, способны вызывать видения? Нет? А ведь таких заболеваний огромное количество, от психических расстройств до простого жара. Я человек трезвого ума, в здравом рассудке, потому вынужден отбрасывать сомнительные рассуждения и искать в первую очередь органическую причину. Мне всё ещё представляется верной гипотеза, согласно которой у больных через кровь в нервных клетках расселяется какой-то паразит, из микроорганизмов или вирусов. А мистические связи, бесы и прочее — из области фантазий, и хотя соблазн велик, я не смею прятать собственное бессилие за этими сказочными образами. Да, мне не удаётся определить источник заражения, из-за нехватки лекарств я даже не могу помочь, вынужден смотреть, как люди умирают — но это не повод утверждать, будто мы столкнулись с чем-то потусторонним. Вся бесовщина, Андрей Михайлович, исключительно в головах, от страха да недобоваримых суеверий.

– Вероятно, вы правы. А если ошибаетесь?

Доктор встал из-за стола, поглядел на собеседника как будто разочарованно, произнёс:

– Мне надо идти, я слишком задержался. Людей много, необходимо посетить каждого, в особенности больных. Скажите, у вас хотя бы достаточно еды?

– Немного картошки и вяленого мяса, в яме, во дворе. Полагаю, на некоторое время хватит.

– Только вытащите запасы из ямы, пока не затопило. Если, конечно, не затопило до сих пор. Тут и раньше были обильные подземные воды, а с наступлением дождей они иногда даже в подвалы просачиваются, поселение-то на болоте выстроено. Кстати, старейшины просили передать, чтобы вы пришли к ним вечером.

– Зачем?

– О, полагаю, они пытаются решать вопросы, связанные с предстоящим бедствием, и из любви к формальностям решили пригласить вас в качестве немого наблюдателя. Разумеется, вы можете никуда не идти. Так я буду заходить к вам время от времени?

– Как вам угодно. Только для чего?

– Ведь у вас нет никого. Я очень хорошо относился к вашей сестре, и теперь, когда она умерла, не должен покидать вас, не должен оставлять в одиночестве.

Доктор собрался было уходить, но перед самой дверью обернулся и тихо, вкрадчиво произнёс:

– Одиночество порою творит с людьми жуткие вещи.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Собрание Совета

Вечером, дабы хоть как-то себя занять, Лигнин отправился к старейшинам, догадываясь, впрочем, насколько это унижительно. Но само понятие унижения, так же, как понятия власти, гордости, иерархии, превосходства и прочее, утеряло для него всяческий смысл. В последние дни значение имело лишь одно — время, ибо оно непомерно разрослось, сделалось огромным, всепоглощающим, почти неподвижным, так что один жалкий день стал вдруг равносильным целому году. Время ложилось на плечи тяжким грузом, ибо только оно одно обладало какой-то плотностью, являлось чем-то реальным и потому довлеющим. Изматывало. Никаких границ, никаких различий не было между минутой данной и следующей, но все — одна сплошная минута, всякий раз та же самая, плавно перетекающая с боем часов из себя в себя же, чурающаяся стремительного бега, как огня, переваливающаяся медленно, подобно полумёртвой улитке.

Время.

Его необходимо было разбить на отрезки, как раньше, когда существовало течение, с ним необходимо было бороться, так что в бесславном походе к старейшинам, который, казалось, закреплял поражение, Лигнин видел в первую очередь возможность на несколько мгновений заполнить паузу (о, всё его существование превратилось в бесконечно утомительную паузу!) и таким образом нанести времени очередной удар — удар слабенький, едва ощутимый, так что оно скоро оправится и вновь начнёт наступать, подавлять всей своей застывшей громадой.

Время остановилось и трепыхалось в судорогах, опалённое лихорадкой, как всё прочее. Время прежде всего показывает скорость происходящего, не отмечая в действительности секунды, годы. Оно неравномерно для всех и каждого. И если ничего не происходит — оно замирает. Мир, вероятно, дышит временем. Мир Лигнина, вероятно, не дышал, поместив своего обитателя в совершенный чувственный вакуум.

Добираться пришлось пешком, поскольку редкий транспорт, некогда пущенный в городе, имел одну особенность: в тёплую погоду им практически никто не пользовался, ибо поселение относительно небольшое, в холод же и слякоть он тут же ломался по ветхости и прекращал функционировать. К концу пути Андрей Михайлович промок — дождь прошил его насквозь своими мокрыми, уступчивыми нитями.

Небо над головой гноилось, изливалось с шумом и стоном. На кучеряво-тучной, жирной поверхности небосвода то и дело образовывались волдыри, нары-

вы, трещины, заключающие в себе тьму и сырость, кровоподтёки, а затем из лопнувших волдырей, из воспалённых нарывов, из трещин обильно сочилась влага, которая, падая, заражала неведомой болезнью землю и всё, что на ней. Потому земля тоже дыбилась, разбухала, покрывалась гнилью.

Вся эта чрезмерная сырость навевала мысли о безысходности, о смерти — мысли тяжёлые, навязчивые, от которых невозможно отказаться. Такие мысли вгрызаются в самую глубину сознания, подобно паразитам, подчиняют себе все прочие думы и стремления и неодолимо влекут человека к краю пропасти. Им будто хочется, чтобы жертва перегнулась когда-нибудь через край, заглянула по ту сторону существования, увидела наконец всю тщетность собственных неровных движений, ринулась вниз, очертя голову, за пределы жизни. Безысходность разительна. Смерть, в конечном счёте, тоже...

Когда Лигнин вошёл в здание, где заседали старейшины, он тут же услышал плеск прямо над головой, гораздо громче, настырней, нежели в своём доме. Казалось, второй этаж полон воды до краёв, так что потолок может в любой момент обрушиться. Длинный коридор со скамьями по обе стороны, ведущий к главному залу, по-прежнему заполняла густая мгла, только теперь по нему постоянно сновали просители — подобно теням, крались по самой стеночке, озираясь да чего-то как бы опасаясь, незаметные, подавленные, все до единого мокрые, так что за каждым по пятам следовало глухое, мягкое капание и тот скользкий скрип, который производят при соприкосновении две сырые поверхности — подошва и пол. Точно такие же звуки производил сам Андрей Михайлович — вернее, производило отяжелевшее от воды да одежды тело, ибо до сознания они почти не доходили, проникали с задержкой, словно сквозь вату.

У зеркала, где когда-то произошла встреча с несуществующим незнакомцем, Лигнин остановился. Подошёл вплотную, коснулся рукой гладкой поверхности — отёкшие, толстые пальцы обожгло холодом. Подушечки словно прикипели, давая холодную возможность проникать посредством них дальше, в слабые сухожилия, в кости предплечий, тоненькие, как у подростка. Прикипели и глаза. Лигнин всматривался в зеркальную поверхность, не видя никаких отражений — смотрел именно на поверхность, скользил пытливый взгляд по обманчивой, серебристой плоскости в едва заметных разводах пара, возникающих от его же дыхания, словно непременно хотел проникнуть в её суть. На миг ему почудилось, будто вот-вот появится белое лицо, нелепо подвешенное в окружающей темноте, засмеётся сухо, хрипло, уставится на него пустыми глазницами («Вырезали, вырезали, вырезали!») — гремело в голове раскатами... но никакого противоестественного лица так и не появилось, только отражение тощего промокшего человека. У человека были волосы, облепившие голову сосульками, плотно сжатые от напряжения губы, брови, увешанные гроздьями

дождевых капель, остекленевшие, широко распахнутые, жадные до внешнего мира глаза с зияющими зрачками в них — отражение собственное, ничего больше.

Лигнин оторвался от зеркала, потёр пальцы, изгоняя холод, отряхнулся и отправился в зал собраний. У самой двери задержался ненадолго, чтобы избавиться от куртки, и вошёл.

Старейшины, как в прошлый раз, восседали на возвышении за трибунами, установив перед собой несколько горящих свечей. Оттого по комнате тревожно метались длинные, чудовищные тени, чёрные, как копоть, а свет мерцал, подёргивался, прерываемый тенями. По неподвижным лицам старцев ползали блики, пятна — ползали, подобно огромным насекомым, так что могло почудиться, будто лица эти усыпаны пауками причудливых форм, с лапами толстыми и короткими. Сами старцы видом своим напоминали высокомерных жрецов, свершающих некое особо значимое таинство, а в то же время замечалось в них, как во всяких жрецах, нечто от статуй, только таких статуй, кои творились неумелыми руками — слишком угловаты, узловаты были изгибы омертвевших частей.

В помещении стоял настойчивый запах опалённого воска.

— Совет рад приветствовать вас, — раздалось, гулким эхом отталкиваясь от стен. Из-за эха и сопутствующего мерцания нельзя было разобрать, кому именно принадлежали слова. Выходило, будто никто вовсе рта не раскрывал, а говорил непосредственно Глас Совета, обретший самостоятельность и витающий теперь над пустыми, окостеневшими телами в коконах.

Лигнин кивнул и вдруг спросил, то ли позабыв принятые здесь правила, то ли намеренно их игнорируя:

— Разве в доме нет проводки? Во всех домах есть проводка, к чему свечи?

— Плоды человеческой мысли, плоды цивилизации, — прогремел Глас, — есть зло, столкновения и соприкосновения с коим мы стремимся избегать. Все беды от высокомерия человеческого, от желания без оглядки двигаться вперёд, испытывая тем самым терпение Создателя нашего. Известно, что и лихорадка наслана на город в качестве наказания за разорение земель, некогда священных.

— Подобными рассказами вы потчуете просителей? Что же, слушают они вас?

В ответ — тишина.

— Зачем вы пригласили меня сегодня?

Тишина. Только мерный шелест воды где-то сверху.

— Зачем я здесь?

Сухие, омертвевшие губы крайнего слева немощного старика размыкаются, из них исходит тихое, невнятное поскрипывание:

— Неужели вы не помните правил? К Совету следует обращаться не иначе, как досточтимые, либо в третьем лице. Проситель не имеет права говорить до тех пор, пока Совет не высказал своей воли, которую

следует исполнять беспрекословно. Возражения, брань, недовольство недопустимы. Ставить под сомнение компетенцию членов Совета — недопустимо. Отсутствие почтения по отношению к Совету и его постановлениям — недопустимо. Проситель не имеет права спрашивать того, что прямо не касается сути дела...

— Но я не проситель, досточтимые, — перебил Лигнин. — Ведь вы сами пригласили меня.

— Вы — проситель, — произнёс старик и тяжело вздохнул, потом зашёлся кашлем, так что ему пришлось перегнуться чуть ли не пополам, дабы подавить возникшие спазмы. Из рта, из носа потекло ржавое, обильно, будто внутри только эта ржавчина и осталась, а весь механизм одряхлел и поломался.

Тут Андрей Михайлович увидел, что все старейшины больны, еле способны двигаться, и даже дыхание, столь необходимое, удается им с трудом, оттого окаменелость во всех чертах. Лица высохшие, сведённые одной на всех болью, сведённые страхом, уставшие, у двоих вовсе покрытые синюшными пятнами — так, словно эти двое давно уже мертвы, но продолжают исполнять свои сомнительные обязанности, ожидая, пока прочие не присоединятся к ним. Мельком Лигнин подумал, что старейшины непременно должны умереть все разом, одновременно, как единое целое.

Затем сознание его окунулось в какой-то туман, как бы провалилось в сумерки, и он отчётливо увидел зловонные щупальца, протянувшиеся к нему со стороны трибуны, жадно липнущие к телу, оплетающие удушливыми кольцами. А за трибуной больше нет никаких старейшин — теперь там плотно стиснута огромная, разжиревшая каракатица, наполовину разложившаяся, но всё ещё цепляющаяся за жизнь теми остатками неосознанной плоти, что не успели насквозь прогнать. Глас Совета что-то говорит, постепенно нарастая, заполняя всё пространство вокруг невозможным гулом, но Лигнин ничего не слышит — всё внимание его приковано к отвратительной туше, зажатой между трибуной и дальней стеной. Часть туши вздымается и опускается, со свистом, с бульканьем, поддерживая неровное дыхание, другая часть, чёрная, расплзающаяся по швам, поκειται на полу мёртвым, опавшим отростком. Живёт и гниёт одновременно, верно?

А в голове звучит голос, не принадлежащий ни исчезнувшему Совету, ни умирающему существу, возникшему на месте Совета. Ты — это не ты теперь, — говорит голос вкрадливо, так что каждое слово спицей проникает в ухо, прокалывает кожу и хрящи, отчего из разорванной ушной раковины сочится кровь, переспелой, рябиновой россыпью падает на плечо и пол.

Ты распадаешься, — говорит голос. — Распадаешься так же, как эта мерзкая каракатица, так же, как всё вокруг, как всякая вещь, существующая в мире. Рвёт. Ты слышишь? Ты должен, потому что мы слышим. Где ты теперь?

Куски плоти, колышущиеся за трибуной, начинают раздуваться, покрываются пузырями, лопаются,

а из лопнувших пузырей течёт чёрная жидкость, струится по полу, захватывает ноги. Лигнин бросается бежать, через половину зала, распластавшуюся перед дверью в неровном мерцании свеч, через мрачный коридор, полный просителей, наружу, на крыльцо и дальше, под потоки дождя. Но снаружи промокший мир, поражённый гангреной, и некуда бежать, и негде прятаться. Сверху мир укрыт каменной породой, и там, за ливневой стеной, имеются настоящие стены, из камня, и все это вместе образует подобие глухого грота или глубокого ущелья — не выбраться. Так где ты теперь?

— Я в пещере, — шепчет Лигнин еле слышно, от ужаса проглатывая собственные слова.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Альbedo (7)

Как только Лигнин осознал, где находится, время в его понимании исчезло, ибо никакого времени внутри тёмного замкнутого пространства не существует вовсе. Прошлое смешалось с настоящим, сон смешался с реальностью, окружающее потеряло всякий смысл, обратившись преградами, мешающими глазам видеть всю подноготную, сырыми и серыми. С тех пор Андрей Михайлович принялся смотреть исключительно под вещи и события или, выражаясь так, как подобает в подобных случаях разумным людям, начал сходить с ума.

Время, как всё внешнее вообще, опрокинулось разом, в один какой-нибудь миг, после посещения старейшин. В тот вечер Лигнин долго бродил по городу, едва ли соображая, куда именно следует идти, потому промок донельзя — вода размыла, обезличила, добралась до дыхательных путей и внутренних органов и наполнила собою уставшее тело. Затем он вернулся домой, лёг на кровать, не раздеваясь, и провёл так несколько дней, забыв о пище и сне.

Дождь заколачивал несчастного в стенах темницы, назойливым стуком своих влажных молоточков бил по самому нутру, проникал в голову, удар за ударом, причём каждый там же, в голове, оставался, так что она становилась непомерно тяжёлой, наполнялась гулом. Дождь приковывал к поверхности, не давая пошевелиться. Эти мерзкие молоточки словно вбивали гвозди в крышку гроба, и Лигнину иногда казалось, будто он умер, но, не в силах признать факт собственной смерти, отчаянно хватается за обрывки чего-то давно минувшего, болезненно-сладкого, туманного. Дробь и плескания, создаваемые ливнем, день ото дня усиливались, становились более осязаемыми, требовали больше пространства. Вскоре они захватили все комнаты, ворвались в них невидимой,

7) Альbedo — в данном случае — вторая стадия психоаналитической работы, переход из нигредо в белый мир. На этой стадии свойственны отсутствие сильных эмоций, пассивное ожидание, во снах преобладают поверхности вод и зеркал. Человек акцентирует внимание на внутренней сути.

но вязкой массой. Тогда в темнице сделалось совсем тесно, Лигнина облепила недоступная взору рыхлая материя, и свободное место осталось только внутри головы — там, где не успели скопиться чересчур плотные звуки. Андрей Михайлович оказался заперт в собственной черепной коробке.

Два или три раза кто-то приходил к нему, но кто и зачем, понять было невозможно, ибо когда Лигнин распахивал воспалённые веки, то видел перед собою лишь рябую пелену, ту самую, что родилась из шума, и каменную стену за ней, покрытую плесенью, посетители же находились за этой стеной, так что разглядеть их никак не удавалось.

Всё ощущалось болезненно, с надрывом. Дифференцировать и определять свои чувства Андрей Михайлович не мог. Он не то что бы только учился чувствовать, но вся вообще чувственность как явление была для него чем-то чуждым, болезнью. С болезнью она и пришла. Переживания смешивались друг с другом, перетекали и скапливались в душе единым сплавом. О, если бы Лигнин принялся вдруг разбирать скопившееся, то непременно обнаружил бы тоску, острое чувство безысходности, разочарование, сожаление о прежнем, о потерянной любви, о зря прожитой жизни, о многочисленных скитаниях, предпринятых в поисках чего-то устойчивого, но чего именно, он сам никогда не знал. Однако, лёжа в бессилии на койке и совершая утомительное путешествие внутрь себя, в движениях своей души Андрей Михайлович предпочитал не копать, дабы не чувствовать нестерпимой боли, потому чувства воспринимались им как комок мокроты, вставший поперёк горла.

Чувства хотелось выхаркать, оттого родилось безразличие. На наиболее сильные, нарывающие, подобно гноящимся ранам, эмоции Лигнин смотрел как бы со стороны, совершенно равнодушно, будто ему и дела никакого нет. Душа его в те дни раздвоилась, избитая дождевыми молоточками, так что одна половина, безутешная, до краёв полная неизбывной горечи, металась по безвременью в поисках спокойствия, вторая же следила за этими несуразными метаниями с отстранённым интересом. Холодная, безучастная, она пребывала здесь и сейчас.

Здесь и сейчас, минуя очередную бессонную ночь, задыхается всякая жизнь. Превращается в тончайшую, хрупкую плоть, подверженную разложению, рассыпается. Дыханием прекращается всякая жизнь, болезненным, принужденным выдохом, когда вдохнуть уже нельзя — судороги сжимают слабую грудь, внутри всё перехватывает, тишина и звуковой хаос, её сменяющий, больше не задают никакого ритма. Лёгкие рвутся в тщетных попытках получить хоть немного воздуха. Танец подходит к завершению, отбивать такт уже незачем. В этот момент в голове вновь рождается голос, тебе совершенно не принадлежащий. И он спрашивает всё то же, грозно, настырно, ибо хотя бы в последний миг ты должен знать ответы...

Кто ты?

Единость.

Множество.

Ты.

Но было не только здесь, не только сейчас. Была бесконечность вероятных переплетений, ветвящаяся, подобно запутанному лабиринту, так что вся внутренняя жизнь Лигнина напоминала мытарства души, заранее обречённой на вечную тревогу и невозможность прощения. Сокровенное вышло наружу, обнажилось, незначительное влезло вовнутрь, облизывая поверхность глаз, вызывая лёгкое покалывание — было совершенно неясно, что происходит реально, а что — лишь обман воображения, выведенный за внешний круг и умело подделанный лживым хрусталиком, сплетённый из воздуха, влаги, из бесовщины и частичек болезни, витающих поблизости. Воображение чрезмерно воспалилось не только у Лигнина, но у всех вообще, атмосфера от него вскипала, заражала видениями. От игр этого невротического, коллективного и потому неопознанного воображения умирали люди, поддавшись обманчивому эффекту и приняв собственный затаённый страх, собственную внутреннюю вину за нечто, существующее вне зависимости от них, совершенно отдельно и самостоятельно. На поломанных сваях из грязного воздуха люди сколотили царство смерти...

Впрочем, в те дни, проведённые в заточении на койке, Лигнин едва ли понимал смерть так, как раньше. Внутри, в его сокровенном мире, все близкие давно уже были мертвы и одновременно живы, обитали на грани. Мёртвыми их делали воспоминания о том, что все они когда-то умерли, живыми — воспоминания об их жизни, сохранившиеся нотки голоса, частицы волос, роговицы, кожи, так что в любой момент времени их можно было воскресить, подобрав нужный цвет глаз, нужный цвет волос, восстановив какую-нибудь особенно запомнившуюся фразу. Достаточно только немного покопаться в пепле и прахе, отложившемся в памяти беспорядочной кучей, извлечь на свет недостающие волоски, пару искорок, кои непременно следует вложить в глаза, если хочешь вдохнуть в кого-нибудь жизнь, кусочки кожи, вполне подходящие на ощупь — и куклы появятся, как будто наяву, а очень скоро станут являться, вовсе ни у кого никакого разрешения не спрашивая. В памяти мёртвые неподвижны, как заведённые, выполняют лишь заранее выдуманное действие, почерпнутые из прошлого. Можно было бы предположить, будто они мертвы совершенно, но при отсутствии времени становится неясным, что произошло раньше, жили ли они сначала, а затем умерли, или наоборот — одно только безвременье и ставит их на шаткую грань.

Порою являлась мать, сама по себе, но туманно, да всё в чём-то упрекала, только не разобрать, в чём именно — в том ли, что сын покинул её в трудный период, или же в том, что так бездарно загубил все начинания в своей жизни. А то приходила сестра, иногда совсем, дочерна, обгоревшая, с проклятьем и дымом на выжженных устах, а иногда как живая. Живая Анна приходила то в белоснежном платье, хотя подобного платья у неё никогда не имелось, то совершенно обнажённая, лезла обниматься, ка-

салась руками тела, да только прикосновения её не чувствовались, и становилось страшно. Лигнин всегда почти цепенел от страха, а та надувала губки от обиды и рассыпалась в пыль, пыль же исчезала бесследно.

В иные моменты никто не приходил, а только начиналась вдруг бесконечная череда соединённых между собой гротов, и в каждом — город или поселение, где Андрей Михайлович побывал во время своего длительного отсутствия. Лигнин как будто плыл по всем этим каменным комнаткам, постепенно ускоряясь, и нигде не находил ничего интересного, ничего, что заставило бы наконец остановиться, что помогло бы надышаться хотя б на миг. Эта бессмысленная череда рано или поздно превращалась в узкий коридор, в лаз между выступами твёрдой породы, но до конца коридора беглец никогда не доходил, ибо догадывался, что или, вернее, кто ожидает его в конце. Владелец белого лица с глазами, полными тьмы и вальсирующих фигурок. Впрочем... вырезали, разве нет? Лигнин не понимал, как именно связан с этим выходцем из ночных кошмаров, но связь ощущал, и она довлела над ним. Образ преследовал его, тайком выглядывая из зеркал, являлся во сне, являлся наяву, но слишком расплывчато, так что невозможно было разглядеть, взирает ли из его глаз сама тьма или он лишён зрения. Лигнин метался, пытался убежать (там, внутри себя, внутри пещеры) — но куда бежать из замкнутого пространства, которое совсем скоро доверху зальёт водой...

Страх затопления, навязчивая боязнь утонуть преследовала Андрея Михайловича неотступно. Звуки молоточков пробивались в самую глубину сознания, так же, как плеск со второго этажа, и казалось, будто вода облепляет кожу (она — как сырое мясо на ощупь), проникает сквозь уступчивые поры в полости тела, отчего тело распухает. А внутри вода обращается мерзкой чёрной жидкостью, и Лигнин отчётливо понимает, что зловонная жидкость была там и раньше — её оставили щупальца, протянувшиеся к нему у старейшин, протянувшиеся от старейшин и впившиеся в ноги и живот.

Несколько раз Андрей Михайлович находил в себе силы, чтобы, несмотря на гнёт окружающего хаоса, подняться на ноги. Тогда он отпраивался на кухню (впрочем, в его понимании это была не кухня вовсе, а всего лишь очередной каменный грот, чуть меньше прочих), хватался за нож и разрезал себе руки, дабы поглядеть, не потечёт ли из ран гнилое и чёрное, как из полопавшейся каракатицы, но текло только алое, вязкое, туго пробираясь через порезы.

Изредка в этот период глаз вырывал нечто действительно реальное, всегда без начала, всегда без конца. Однажды, к примеру, Лигнин пришёл в себя и с удивлением обнаружил, что перед ним почему-то сидит престарелый доктор и грустно так поглядывает. Откуда он здесь, как вошел, о чём говорил — этого Андрей Михайлович как будто не помнил. И, однако, доктор сидит напротив, требовательно тарабанит пальцами в ожидании ответа. Эти паль-

цы отвлекают — глазная поверхность весьма избыточна, знаете ли, и вот уже Лигнин видит одни только скрюченные суставы, обтянутые морщинистой, мешковатой кожей с синюшными пятнами, и говорит так, словно знает, о чём шла речь прежде:

— Да, доктор, дожди затянулись, но у меня ещё есть еда.

Затем доктор опрокидывается и исчезает. И вновь прошлое, фантазмагорическими образами смешанное с грядущим или вовсе таким, что никогда не происходило и произойти ни при каких обстоятельствах не может.

Однажды виделось, как на сводную сестру его всем телом наваливается отец Тимофей — она сопротивляется, пытается защитит себя, а старик просто опрокидывается на неё сверху, полностью подмяв под себя, обездживив, и принимается целовать, как безумный, прикасаясь ссохшимися от старости, потрескавшимися губами к её коже, пытается неумелыми, слабыми руками сорвать одежду, да только ничего не выходит. Тогда священник поднимается, берёт непонятно откуда взявшееся, словно припасённое заранее, ведро и обливает жертву водой, с ног до головы. Волосы на голове женщины склеиваются мокрыми прядями, ткань делается прозрачной, липнет к телу, отчего становятся видны очертания груди, ничем не прикрытой под платьем, и широких бёдер. А на лице смиренного старца играет улыбка, похотливая и зловещая...

В другой раз Лигнину почудилось, словно тяжёлый свод над его головой разломился пополам, из образовавшейся щели в помещение начали просачиваться бесы, чёрненькие и омерзительные, с гиеноподобным смехом на устах. Лезли и лезли до тех пор, пока в комнате не осталось места. Кружили над бедным больным, кусали его, топтались по нему уродливыми копытцами, отчего оставались размазанные, обширные синяки, да распевали что-то совершенно непристойное. Андрей Михайлович пытался отмахнуться от непрошенных гостей, но руки не подчинялись ему, двигались медленно и совсем не так, как он им приказывал. Через некоторое время, впрочем, всё прекратилось само собой, да только синяки и кровоподтёки на избитом теле почему-то остались...

Во всё то время, которое обратилось в вечность для Лигнина, в реальности же заняло лишь период дождей вплоть до приезда епископа, доктор приходил несколько раз и заметил, что хозяин протекающего дома стал говорить механически, словно сознание его пребывало далеко от предмета беседы, да и вообще далеко отсюда. Заметил врач и то, что Андрей Михайлович давно уже ничего не ест, потому пообещал принести что-нибудь из своих запасов.

В последний раз, накануне того дня, когда город посетил епископ, доктор взял с собой небольшую сумку, полную хлеба, и также отправился к своему подопечному. Отворил дверь, которая за всю ту неделю ни разу не запиралась, произнёс с порога, в надежде, что молодой человек оживится:

– Я принёс еды, – но, видя, в каком безучастном состоянии Лигнин, и понимая, что поделаться с этим ничего нельзя, только это он и сумел произнести. Остальное не имело бы ровно никакого смысла. Старый врач вздохнул тяжело и вышел прочь.

Вскоре у Лигнина начались судороги, и доктор смог диагностировать злосчастную лихорадку. Судороги были большей частью простые, происходили преимущественно с руками и выражались беспорядочными, ломаными движениями перед собой, потому не мешали передвигаться. Примерно тогда Андрей Михайлович начал бесцельно бродить по округе, как тень, ничего не сознавая и едва ли соображая, что вообще покидает свой тесный, насквозь промокший дом.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Пляска мёртвой женщины

Впрочем, в иные дни Лигнин приходил в сознание и по крайней мере первые несколько часов после пробуждения вполне мог отличить реальное от вымышленного. Восприятие его исправлялось не совершенно, предметы и всё вообще окружающее представлялось каким-то нечётким, вздрагивающим, с рябью да прорехами. Однако же он сносно ориентировался в мире оболочек, не заботясь об их отвратительной изнанке, так что событие виделось ему хотя непрочным, сомнительным, но всего лишь событием, то есть случайным переплетением ничтожных обстоятельств, каждое из которых родилось само по себе, а вовсе не неизбежным, заранее оговорённым звеном в тесной сетке существования, бегущего посредством всех этих звеньев к строго определённой разрушению и завершению, к исконному хаосу. Да и человек виделся только телом, наполненным мыслями, словами, а не скопищем гниющих внутренностей и разноликих бесноватых сущностей, промеж внутренностей обитающих.

Третьего июля, например, в понедельник, Лигнин проснулся на своей койке, в одежде, насквозь пропахшей потом и застоявшейся сыростью, и обнаружил себя в стенах своего невзрачного жилища, а не в каменной темнице. Он встал на ноги, угодил прямиком в лужу — несмотря на то, что дождь давно прекратился, вода, проникавшая в дом через непрочную крышу, скопилась на полу первого этажа. Вода достигала щиколоток да никак не желала сходить. Андрей Михайлович опустился на колени, промочив при этом штаны, умыл лицо, почему-то воспользовавшись грязной жидкостью с пола, впитавшей в себя запах гниющего дерева, облизал губы (язык чуть обожгло приторно-тухлым, поднялись спазмы, от туго сжавшегося желудка к горлу, но быстро прекратилось) и вышел из дома. Всю дорогу его сопровождал мерзкий дух разложения, сохранившийся на лице, а руки невозможно тряслись, доведённые судорогами до полного изнеможения — их он спрятал в карманы. В предыдущие дни, когда Андрей Михайлович обитал в царстве бессознатель-

ного и совершал свои прогулки, подобно эпилептику в сумеречном помутнении, ровно ничего вокруг не видя, кроме красных да чёрных разводов, рук он никуда не прятал, не заботясь об их самостоятельной жизни, а нелепо размахивал ими прямо перед собой, против воли и без всякого собственного желания. Третьего же числа мышечные спазмы оставили его, давая время передохнуть и восстановить кое-как силы.

Как только Лигнин вышел на улицу, ноги повели его к дому старейшин — повели механически, как нечто чужеродное, не спрашивая дозволения, ибо всё его тело постепенно сбрасывало с себя оковы его же воли, желая двигаться бесконтрольно, не подчиняясь гнетущему сознанию. На сей раз Лигнин нисколько не возражал против выбора своих конечностей — ему вдруг захотелось удостовериться, обитает ли там странная каракатица, раздувшаяся от переполнившей её жидкости, похожей на нефть, и некоторыми частями умершая, или всё — сплошь галлюцинация. Хотелось удостовериться, действительно ли рвёт, действительно ли весь мир трещит по плохо скроенным швам, раздираемый изнутри вдруг взбунтовавшейся мертвечиной, обороткой, или же ничего вовсе не рвёт и потому слушать нечего и некого, и вопрос, вгрызающийся внутрь подобно *paraponea clavata*, буравящий все ткани на своём витиеватом пути через ломаный слуховой канал (ты слышишь? Ты должен, потому что мы слышим) — этот вопрос есть лишь неуместное, сумрачное обращение себя к себе.

Идти было легко, дороги пересохли, раны на земле, взрытые дождём, срослись, лужи повсеместно испарились. Только на полях, вплотную укрытых мёртвыми колосьями хлеба, ряской и примитивными водорослями, расплотившимися за ливневый период, остались обширные заболоченные участки, но поля располагались по окраинам, не соприкасаясь ни с переулками, ни с дорогами, так что до них, непригодных, никому теперь не было дела. Деревянный настил, покрывавший некогда многие улицы в городе и напрочь разбитый, а затем размыйтый наводнением, обратился сухой коростой, пристывшей к утрамбованной почве. Деревья стояли сплошь изувеченные, поломанные пополам либо почти опрокинутые наземь; трава по краям улиц, сначала сожжённая неистовым светилом, затем вымоченная дождевыми потоками, присохла чёрно-рыжими лохмотьями — лохмотья источали вонь сырых окурков и внешне напоминали свалывшуюся шерсть. В небе сияло солнце, как прежде, настырно и неприятно. Небо совершенно исцелилось, излив всю свою болезнь в землю, а земля терпеливо проглотила всё без остатка, захлёбываясь, и в недрах её ныне игралось празднество болотной жижи да слепых насекомых. Но снаружи земля стояла лишь едва увлажнённая, скрывая всю свою омерзительную кухню гниения и кропотливой работы по перевариванию пищи, вновь готовая всякую смерть превращать во вполне сносные, сочные плоды.

Примерно через полчаса Лигнин добрался до здания, где некогда заседали старейшины, но на его месте обнаружил развалины, сложенные неправильно, уродливо. Вокруг царило запустение и безлюдье, и не у кого было разузнать, что произошло.

Крыша дома ввалилась внутрь, как нос древнего мертвеца, потянула за собой стены, и те стояли накрепкие, вогнутые, будто хотели безглазым своим верхом рассмотреть пространство, некогда являвшееся комнатами, переходами. Андрей Михайлович обошёл руины кругом и увидел, что вход остался почти целым, только косяки съехались, вытолкнули дверь наружу, да крыльцо распалось надвое, отчего напоминало разъявленную, беззубую пасть, полную слюны — это осталась неиспарившаяся влага, ибо развалины солнце обходило стороной.

Лигнин помедлил немного и протиснулся внутрь. Обвалившаяся крыша покоилась поверх перекрытия между ярусами, первый этаж, таким образом, практически не подвергся разрушению — только по углам появились бреши, сквозь которые пробивался тусклый, мерцающий свет, косыми линиями. От этого света, впитывая его и отражая, на полу и сводах бывшего коридора серебрились капельки воды, служившие напоминанием о бедствии, некогда здесь приключившемся. Стены гудели, не справляясь с нагрузкой, но, кажется, держались вполне прочно.

Андрей Михайлович двинулся вглубь коридора — так, словно перед ним был не коридор вовсе, а воронка, и его туда затягивало. Скамейки по краям опрокинулись, некоторые были перебиты посередине или лишены ножек. Зеркало на удивление сохранилось. Оно упало со стены и стояло теперь на полу, взрытое трещиной сверху донизу. Кроме трещины, разделившей гладкую поверхность пополам, никаких повреждений больше не имелось.

Лигнин прильнул к отражению, также разделённому надвое — он встал так, чтобы разрыв проходил ровно посередине его лица, рассекая лоб в области продольной морщины между бровей.

Так стоял напротив распоротого зеркала, в прошлом явившего ему странного незнакомца, сделавшегося назойливым преследователем, и не узнавал себя. Что-то стало не так с его лицом. Дело даже не в чрезмерной худобе, случившейся от недоедания, не в отточенности окаменелых губ, похожих на потрескавшийся мрамор, не в излишней выпуклости глазных яблок, воспалённых, покрытых аккуратной сеточкой лопнувших сосудов. Просто в собственных постаревших чертах Лигнин видел нечто чужое, чего никогда раньше вовсе не существовало — какую-то потустороннюю бледность, хотя он и всегда вообще был бледен, да противоестественное сияние, пробивающееся сквозь вывернутые поры в коже. Тут лицо его стало меняться, белеть, Андрей Михайлович вцепился в него ногтями, желая содрать возникшую маску, но только нанёс себе кровоточащие раны на щёки и подбородок, ибо никакой маски не было, а была его собственная мягкая, податливая до прикосновений ткань, изменившаяся до неузнаваемости — белая с зияющими отверстиями зрачков, пол-

ными пепла и тьмы, но тьмы нездешней, плотной, обладающей твёрдостью. В глазах его неистово метался нечистый дух, желая разорвать увлажнённую поверхность, вырваться наружу с кусками рыхлой материи и подчинить себе всё вокруг — всё заразить тьмой и погибелью (тьма заразительна до крайности, разве нет?). Лигнин закричал, что было мочи, да в отчаянии бросился прочь, навстречу хлипким, неверным лучам солнца, просачивающимся сквозь съехавшийся дверной проём.

Сознание начало покидать его, но всё ещё цеплялось за бедный, затуманенный мозг — он чувствовал тошнотворные схватки сознания внутри головы. Теперь ему одновременно виделись и всякий предмет, и насмехающийся бес, за этим предметом скрывающийся. Лигнин с ужасом наблюдал, что любая вещь в здешнем мире удерживается посредством такого беса, произрастает из его рта или живота, разрезанного надвое. Потому вещи могут перемещаться и совершать круговорот. Когда-нибудь они могут разом соскочить со своих мест, видоизмениться, пуститься в бешеный пляс, так что кресты с кладбища в один какой-нибудь миг вознесутся в небо, а на месте поломанных деревьев окажутся изувеченные, растерзанные и распятые, заранее мёртвые человеческие тела...

Лигнин долго метался по городу, не зная, куда приткнуться, где спрятаться от страшных видений, пока ноги не привели его к недостроенной фабрике, умело приспособленной для сжигания усопших. Тогда он сел на землю, прислонившись к стене, сжался в комок, принялся плакать и отхаркиваться, желая через глаза и горло изгнать скопившуюся внутри тьму. Не вышло. Тьма душила, обращалась нестерпимой болью. Поедала. Лигнин чувствовал, что нечто кусает его изнутри — схватился за живот и так замер. Потом его прополоскало чёрным, зловонным, и, утерев губы, он уснул.

Сон был сродни пропасти, глубокий, непроглядный, но совсем недолго. Когда же Лигнин очнулся, то увидел странную процессию, двигавшуюся в сторону фабрики. Впереди всех шёл отец Тимофей, сгорбленный, отчего-то уставший, с обречённым выражением и мукой на лице. За ним двое человек тащили носилки, на которых лежало тонкое и продолговатое, накрытое простынёй. Затем следовал доктор да какой-то безвестный бродяга, запелёнутый, подобно брошенному на произвол судьбы младенцу, в грязное тряпье.

«Не иначе, мёртвую несут», — подумал Лигнин. Хотел спрятаться, дабы не попадаться никому на глаза, но что-то остановило, и он, как заворожённый, двинулся навстречу безмолвной процессии.

Горестные, согбенные люди шли, озарённые наступившим закатом — оттого одежда их и открытая кожа подёрнуты были розовой дымкой, в складках же и морщинах дымка собиралась густым багрянцем. Лигнин подождал, пока колонна минует его, и зачем-то присоединился, взяв на себя роль за-

мыкающего. Доктор о чём-то говорил, но Лигнин не слушал — доктор, доброжелательный, убитый горем старичок, превозносящий разум, всегда что-то говорит, сухо и тихо.

Андрей Михайлович нагнал носильщиков.

В этот момент носилки накренились, простыня спала, обнажив тело рыжеволосой женщины. Черты лица её, хотя были красивы, в известной степени правильны, истончились, исказились, выдавая длительное страдание.

Одна рука её лежала на животе, что-то как будто стыдливо прикрывая, хотя истощённые чресла при этом оставались совершенно голыми, выдаваясь из плотной костяной материи; вторая безжизненно свисала с носилок. Рука эта, до боли тоненькая, как промёрзшая на ветру ветка, лишённая листы, покачивалась в такт ходьбе, безвольно подчиняясь ритму, задаваемому несущими. Тело было хрупенькое и костлявое, сквозь кожу просвечивали спичечные ребра.

Лигнин подошел ближе, стараясь идти вровень с носилками — это ему вполне удалось, ибо никто никуда не спешил. Он глядел в лицо женщины, скользил пытливым взором по выточенным, резко обозначенным чертам, по опущенным векам, почти прозрачным, как крылья бабочки, и никак не мог понять, жива ли его обладательница. Тут женщина распахнула тряпичные веки, уставилась на Лигнина, прожигая его насквозь чёрным и смолистым, затем вскочила на ноги — никто её не удерживал.

Одежды на ней совершенно никакой не имелось. Впрочем, от недоедания и, вероятно, лихорадки тело её потеряло всяческую привлекательность, напоминало жёрдочку, обтянутую выцветшей кожей — даже грудь почти исчезла, выступая лишь едва заметной округлостью да красными, будто вырезанными, сосками.

Рыжеволосая постояла немного на месте, озираясь, и пустилась в пляс, негромко напевая что-то вроде «молодую вдову обнимать, целовать», но — странное дело — никто из участников процессии за исключением Андрея Михайловича, в её сторону не глядел, никто не остановился — только накрыли пустые носилки простыней да пошли дальше, ни о чём не заботясь.

А женщина кружилась, вздымала руки к небу, запрокидывала голову. Кружилась так быстро, так непринуждённо, словно наконец осознала всю легкость, необязательность и потому прелесть существования. Глаза её при этом светились счастьем, а в то же время неуёмный, стальной блеск, цветущий в глубине иссиня-чёрных зрачков, выдавал болезнь. И веселилась-то женщина как-то истерично, надрывно, будто ей и невмоготу было, и непременно требовалось веселиться.

Процессия, доставившая плясунью, неторопливо и неизвестно зачем продолжала свой путь. Шли к фабрике.

Женщина танцевала совсем недолго. Ноги её сами собой подкосились, она рухнула и, бесстыдно хоча, откинувшись всем своим нагим телом назад,

принялась впиваться длинными, обломанными ногтями в землю, раздирая её липкую поверхность, как кожу гнилого яблока, и оставляя неглубокие рытвины-язвочки. Затем она поднялась, всё ещё заливаясь жутким смехом, бросилась к Лигнину, обняла его в беспамятстве, прошептала в самое ухо, касаясь губами:

— Милый, милый! Так хочется танцевать... о, как же мне хочется танцевать!

Тут Лигнин понял, что, хотя рыжеволосая дотрагивается до него руками и губами, этих прикосновений он не чувствует — так же, как не чувствует никогда прикосновений покойной сестры, замученной лихорадкой. В ужасе, от которого всегда застывает кровь внутри, прекращая свой живительный бег, он отпрянул от настырной плясуньи, зажмурился, а когда вновь открыл глаза — никакой женщины рядом с ним больше не было, только на носилках, влеконых печальной процессией к жерлу проголодавшейся фабрики, горбилась простыня, скрывая всё то же продолговатое и тонкое.

Лигнин побежал, как безумный, не видя ничего на своём пути.

Ближе к ночи он оказался на берегу реки. Побродил немного по краю и спрятался чуть поодаль в кустарнике, завидев какого-то человека в тёмной, длиннополой одежде. Человек распоясался и длительное время совершал нелепые манипуляции с камнем, неумело ворочая его да пытаясь зачем-то прикрепить к освободившемуся поясу, затем решительно отбросил камень и направился в сторону Андрея Михайловича. Тот уже впал в беспамятство, надрывно ощущая, как что-то внутри него крошится, ломается, распадается на куски, с неизбежным выделением крови и пота, а кровь и пот стекают в полости организма, наполняя тяжестью. Лигнин поднял голову, увидел перед собой древнего старца (в морщинах залегла ночная мгла, в бесцветных глазах — тусклое, неприятное мерцание) и, решив, что это явился наконец долгожданный демон смерти, избавитель от страданий и боли, встречи с которым одновременно и жаждал, и боялся, спросил:

— Это ты? ТЫ?

— Я, — камнем вывалилось из уст старца вместе с темнотой и дымом. — Я.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Пещера

1.

На следующий день отец Тимофей разыскал чудотворца недалеко от заброшенного дома, что посреди кладбища. Юноша зачем-то копался в земле, выгребая её ладонями из глубины и складывая тут же небольшим валиком.

— Что вы делаете? — поинтересовался священник, мало, впрочем, об этом заботясь.

— К чему вам, отец Тимофей? Разве вы пришли

узнать, чем я занят? Если угодно, мне необходимо понять, как мёртвое делается вдруг живым. Так чего вы хотите?

– Вчера вы говорили мне о том, что существует только два пути. Ни по тому, ни по другому я пойти не смогу. Но ведь есть третий путь, и путь этот — спасение.

– Кого же вы вознамерились спасти, ибо ясно, что не себя самого — для вас это было бы слишком, верно? Но неужели вы полагаете, что, спасая кого-то, тем самым исправляете прежние преступления? Полно, отец Тимофей, ведь, помогая кому-то другому, той вы уже не поможете, и значит, никого не исцелите и себя не исцелите.

Священник в ответ ничего не сказал, будто не слышал. Помялся немного да продолжил:

– Вчера же вы говорили, что не можете избавить от лихорадки. Так ли это?

– Я также говорил, что ищущий способ. Теперь я нашёл его.

– Вы можете изгнать бесов? — с надеждой спросил старик, весь подавшись вперёд от нетерпения.

– Да, — сказал чудотворец, продолжая выгребать землю. — Могу.

2.

Снаружи

Процедура изгнания бесов из тела несчастного Лигнина была назначена на раннее утро тринадцатого июля, утро после великого праздника, сильной грозы и пожара, произошедшего в селении за рекой. Сгорел дом тамошнего старейшины, так что только пепелище осталось. Сам старейшина ещё до большого огня отчего-то умер, и хотя многие полагали, будто он сгорел заживо, в действительности смерть его оказалась значительно более лёгкой, то есть без особенных мучений. Зарево в тот вечер окропило небосвод кроваво-красным, мутным, даже несмотря на дождь — все местные видели в этом некое предзнаменование, но чего именно, никто не знал. Поговаривали, будто после пожара жители деревни устроили пляски прямо на пепелище да осквернили тело умершего — о, они очень не любили своего старейшину, потому, вероятно, даже ради приличия не сумели сдержать радости. Кроме того, совсем недавно, в ночь с одиннадцатого на двенадцатое число, при странных обстоятельствах скончался епископ Теофил — ходили слухи, будто его повесили где-то на заборе. Однако официально об этом неприятном факте до сих пор не сообщалось, дабы не пугать общественность, то есть траура никакого объявлено не было, а значит, мрачной церемонии, выдуманной чудотворцем, ничто не мешало.

Лигнин к тому времени лежал в своей койке каменной глыбой, ибо всего его сковала одна непрекращающаяся судорога, от напряжённой шеи до окоченевших без движения ног. Только мимические мышцы сохранили подвижность, так что Андрею Михайловичу, хотя с трудом, удавалось выражать чувства и изредка даже говорить, но с хрипом, не-

внятно. В сознание он почти не приходил да постоянно бредил — то черти почудятся, то пламя, то ещё что-нибудь несусветное.

В доме больного с ночи собралось довольно много народу, помещение было плотно набито, не продохнуть — всем непременно хотелось поглядеть на занимательное зрелище, иные же видели в предстоящем событии надежду на собственное исцеление и пришли, мучимые нервной дрожью. У таких даже голос дрожал.

Раньше всех явился отец Тимофей. Сгорбленная фигура старика, напоминающая металлическую скобу, туго обтянутую рясой, выражала крайнюю степень напряжения — оттого слова его и жесты отличались в то утро скупостью. При этом на лице священника блуждала вымученная, растерянная улыбка, резко очерчивающая глубокие, неприятные на вид морщины вокруг изогнутого рта, во взгляде же замечалось воодушевление, почти патологическое, навроде безумия или религиозного экстаза. Втайне Тимофей лелеял мысль о грядущем искуплении, поэтому был счастлив да несколько не в своём уме.

Затем подошёл доктор, потухший, чем-то глубоко опечаленный, пришаркивая обеими слабыми ногами. Доктор встал в уголочке, желая остаться по возможности незамеченным, и так простоял всё утро, тревожно наблюдая за происходящим — немудрено, ведь никакого искупления для себя он не ждал, зато заимел мрачную привычку готовиться к самому худшему, чтобы ничто уже не могло разорвать его нутро нестерпимой душевной болью. Маленькая девочка с бледно-зеленоватой кожей, отходя, высосала из него последние жизненные соки и всё в нём убила.

Позже пришли несколько человек местных, здоровых и лихорадочных, кто мог ходить (эти были жалко сложены в богомольные позы, готовые во всякий момент рухнуть на колени да смиренно сложить ручки, неуместной лодочкой прикрывая безвольные подбородки), и двое жителей из другого поселения: дочь одного сумасшедшего, обитавшего в деревне за рекой, именем Катерина Петровна, да с ней какой-то зеленоглазый нищий, сбежавший из той же деревни и ошивавшийся накануне у церкви отца Павла. По слухам, нищий умудрился вскружить голову этой девушке, отличавшейся необыкновенной красотой — вместе они скрылись от её родителя, направлялись теперь в Город в поисках приюта, решив по дороге заглянуть сюда и насладиться обещанным зрелищем воскрешения, ибо больной хотя дышал, но был наверняка обречён, иными словами — всё равно что умер. Кое-кто в пришедшей женщине узнал ту самую бесстыдницу, что обнажилась на помосте перед толпой зрителей да отдалась чудотворцу, не заботясь о соглядатаях — эти прежние очевидцы предпочли отвернуться либо прошептать в её адрес неприличные слова. Однако же именно такие прежние очевидцы, бывшие в комнате, отвернувшись на миг да с нескрываемым удовольствием прошептав непристойности, поворачивали затем головы назад и разглядывали женщину нагло, настырно, похотливо, будто пытались раздеть глазами. Оттого

сложилась обстановка, не вполне соответствующая предстоящему действию.

Катенька зачем-то подошла к застывшему Лигнину, наклонилась над ним, прошептала что-то ласково, погладила по взмокшим волосам, из жалости. Больной дёрнулся от её прикосновения, хотел отпрянуть, отклонить, но, будучи закованным в собственном теле, как в нюрнбергской деве, не смог и только прошипел по-змеиному, едва слышно:

– Прочь, ведьма...

Что-то ему почудилось, видно. Катенька испугалась и отошла от койки, прильнув к своему зеленоглазому спутнику.

Около восьми часов, уже после рассвета, разлившегося незаметно и тускло, пришёл наконец чудотворец. Расплескал по стенам маслянистую жидкость, хранившуюся в бочке в заброшенном доме — остались разводы на деревянной поверхности, не желающие впитываться или испаряться. Подошёл к Лигнину, стал водить руками над его телом, от головы, мечущейся по подушке как будто совершенно самостоятельно, к ногам и обратно. При этом из-под одежды юноши начало пробиваться едва заметное сияние, навреде лунных бликов на воде. Оттого лица и перегородки приобрели серебристый оттенок, усилив атмосферу таинства.

Зрители в немом иступлении двинулись за чудотворцем, облепили кругом ложе умирающего. Застыли, подобно статуям, уставились на происходящее, пожирая голодными, настезь распахнутыми, немигающими глазами каждую чёрточку, каждое движение.

Не прекращая разводить ладонями воздух (отравленный, затхлый воздух, скопившийся над ложем зловонной тучей), чудотворец разомкнул губы, ярко выделяющиеся на бледном лице, и приказал прикованному:

– Говори. Расскажи нам о тьме, что разрушает твоё тело.

– Расскажи нам, – вторила податливая толпа.

– Они говорят: единость, – выдал Лигнин из сдавленного горла вместе с кусочками мокроты; начал задыхаться, но через силу продолжил. – Говорят: множество. Говорят: ты, ты сам!

– Расскажи нам, – не унимались зрители. – Расскажи ещё...

Андрей Михайлович обвёл блуждающим взором комнату, не видя и не различая, ни на чём не задерживаясь, застонал (стон был такой, словно зарождался где-то в желудке — глубокий, утробный), затем начал выгибаться всем телом в дугу, как тоненькая, до предела раскалённая пламенем проволока, заваливаться набок.

– Держите его, – бросил чудотворец в толпу, сосредоточившись на плавных движениях своих рук. – Держите.

Несколько заботливых, костлявых клешней пригвоздило Лигнина к кровати, не позволяя содрогаться. Больной корчился, кряхтел, исходил густой пеной да покрывался липкой, кислой испариной.

Катенька, вместе с остальными прильнувшая к

койке, зажала от ужаса рот, вцепившись пальцами в полные губы, воскликнула, словно как бы в нетерпении:

– Ему больно? Больно? – и, не в силах дольше смотреть на мучения лихорадочного, отвернулась, чтобы поплакать.

– Больно, – безучастно ответил колдующий над обречённым юноша. Потом принялся монотонно что-то нашёптывать — никто не мог разобрать, что именно. Шёпот его нарастал, обращался невозможным гулом, так что стены тряслись и весь дом от самого основания шатался, будто от натиска страшного урагана.

Из собравшихся только старенький доктор остался в отдалении от общего пиршества. Стоял поодаль, как бы спрятавшись в своём углу, да внимательно наблюдал за происходящим. «Что-то не так, – думал доктор, – что-то не так с их лицами!» И действительно, люди, бывшие в помещении, как будто натянули скорбные маски, скрывающие истинные чувства. Приглядевшись же чуть внимательнее, можно было заметить всю отвратность картины. Иные из заворожённых, якобы вовлечённые в процесс исцеления, сопереживающие отчаянно мечущемуся на койке Лигнину, на самом деле бросали скользкие, приторно-возбуждённые взгляды на Катерину Петровну, а в мыслях их, надо полагать, разворачивались сцены самого низжайшего, самого одурманивающего разврата. Иные озлобленно и хищно скалились — эти, вероятно, сами носили в себе лихорадку, ибо один только тонкий оскал и отличает поначалу лихорадочных от всех прочих. В отчаянии доктор поглядел на Тимофея — тот тоже в маске, только веки тяжёлые, вздувшиеся, да выцветшие глазки от нестерпимого стыда бегают в разные стороны. А иные дрожат всем телом от возбуждения, втайне получая удовольствие от вида страданий другого человека, удовлетворяя свои тёмные, скрытые фантазии столь изысканным способом подглядывания. Да и вообще всё в комнате было какое-то воспалённое, болезненное, потливое и сырое, так что даже рядом находиться тошно.

Между тем чудотворец положил обе руки на грудь больного, крепко вдавил пальцы промеж рёбер, словно собирался выдернуть что-то изнутри, разрывая кожные покровы да раздвигая кости. Наклонился к Лигнину совсем близко, вглядываясь в закатившиеся зрачки, чересчур выпуклые, нажал на грудную клетку немного сильнее. Рот больного судорожно раскрылся, будто в попытке схватить недоступный воздух, дабы продолжать бесполезное дыхание, и из этого рта обильно хлынула чёрная маслянистая жидкость, похожая на нефть. Жидкость источала едкий запах органического разложения.

Лигнин лежал, наглухо вбитый в койку, кашлял, захлёбывался и извергал чёрное, а чудотворец выштался над ним, всунув руки в его грудную клетку почти по локоть, и излучал яркое серебристое сияние. Сияние вскоре заполнило комнату целиком, ослепляя и раздражая чувствительный хрусталик, так

что люди начали в панике метаться от стены к стене, не видя и не понимая, что творится вокруг.

Когда свет рассеялся, чудотворца нигде не было. Лигнин же крепко спал — дыхание его сделалось ровным и спокойным, готовым к новой жизни.

Через некоторое время он проснулся от нестерпимого голода. Тут только обнаружилось, что, несмотря на выздоровление, Андрей Михайлович сделался совершенно слеп — так, словно ему вырезали глаза.

3.

Внутри

Лигнин лежал на неровной каменной поверхности. В спину ему острыми спицами впивались холод и сырость, и осколки раскрошившейся породы, упавшие сверху. Глухие, неприступные стены пещеры окружали его, а где-то высоко, желая раздавить сознание, тяжёлой плитой покоился сводчатый потолок, покрытый стекающими вниз сталактитами в виде зубов, гребёнок, изломанных соломинок, да тонкой корочкой льда, напоминающей вымороженную паутину.

Собственное тело для Лигнина также превратилось в своеобразную пещеру или, вернее, тесную пыточную камеру — двигаться он почти не мог, не мог влиять на внешнее. Единственной связью с миром для него были глаза и голос, но он не открывал глаз и молчал, опасаясь происходящего вокруг.

Стоит только распахнуть тяжёлые веки, позволить настырному взгляду прорезать их, оглядеться, впитать окружающее — оно резво вгрызётся в сердцевину глаза. Да неужели это происходит?

Раздвинь слипшиеся веки, роясь в них пальцами — сравни то, что расположено снаружи, с внутренним, своим, неприкаемым. Сравни при честном дневном свете. Рвёт. Ты слышишь? Ты должен, потому что мы слышим...

Андрей Михайлович ощущает скрежет и противное хихиканье где-то совсем рядом, над головой. Не в силах более терпеть, поднимает кожаные ставни, препятствующие зрению, и видит, как один за другим пространство внутри пещеры занимают бесы, большие и не слишком. Большие, очертаниями похожие на людей, протискиваются через довольно узкую щель, служащую входом, со смазанной улыбкой, скривившей уста. Те, что поменьше, просачиваются сквозь верх, словно плотная горная порода для них сродни воздуху — в виде назойливых чертей или бесформенных сгустков мрака.

Лигнин поворачивает голову, ибо шея до сих пор подчиняется ему, несмотря на затрудняющую дыхание судорогу, перехватившую горло пульсирующим кольцом, и, не отрываясь, глядит в сторону входа. Вся омерзительная процессия чередой бессвязных картинок отражается на влажной поверхности воспалённых глазных яблок, перепачканных гноем.

Вот появляется старец с чёрным, как смоль, шерстистым лицом, изжёванным оспой да нестерпимой

похотью. На коже его видны следы тления, щёки и нос ввалились, будто от сифилиса, оголённая грудная клетка, тоже сплошь покрытая густой бурой шерстью, растерзана, на ней отчётливо замечаются следы женских ногтей и зубов. Беззубый рот, полный каких-то обломков, сложен в сладенькую улыбочку вожделия. На нём нет штанов, потому он самодовольно вносит вперёд себя свой чудовищных размеров фаллос, совершенно уродливый, напоминающий изъеденный ржавчиной металлический стержень. Старый приап встаёт поодаль, начинает рыскать змеиными глазами по сторонам — не иначе, в поисках жертвы.

Затем входят бесконечной чередой какие-то скорбные, согбенные фигуры, все до единого серенькие, невзрачные, липкие, рыдающие, полные непростительного и, что хуже всего, притворного уныния да неумной пошлости. Эти своими чавкающими рыданиями насмеются над чужими мучениями. Челюсти многих сведены голодным оскалом, губы приоткрыты, и сквозь эти губы, выгнутые, как женская спина во время совокупления а *gatas*, течёт белой пеной слюна — от голода, от возбуждения, от нетерпеливости.

Влезают также бледные, мёртвые тени, тонкие, болезненные, с истерическими движениями и голыми глазными яблоками без век. Влезают импы, простоволосые ведьмы, голые орады, козлоногие существа и прочее и прочее, пока каменные стены не начинают ломиться от тесноты.

Наконец, когда вся пещера доверху забита нечистью, в боковую щель входит совершенно нагая полногрудая особа необыкновенной красоты, за ней — длинный, как жердь, бес в облике неправильно сложенного юноши с хищными, заострёнными чертами.

Обнажённая ламия властно оглядела нечистое сборище, затем откинула назад распущенные тяжёлые волосы, пышными прядями, напоказ выставляя свои груди и шею, и все мелкие твари, проникшие сюда сверху в виде чертей или облачков, облепили тело красавицы, как падальные мухи облепляют кусок сырой волокнистой ткани — присосались к полным ногам, к животу и в области ключиц, почти скрытых под слоем нежной, бархатистой плоти. От этого на теле женщины оставались царапины, кровоподтёки, но она только смеялась, получая удовольствие от того, что её готовы съесть от желания, да вполне смирившись с неизбежной при этом мягковатой, рыхлой болью. Всё темное, порочное, заполнившее каменную темницу, ликовало вместе с ней...

Затем женщина подошла к Лигнину, прикоснулась к его волосам, неровным венчиком прилипшим к голове, провела рукой вдоль лба, по щеке, по тонким губам.

Прочь, ведьма...

Ламия захохотала, скользнула пальцами по неподвижному туловищу больного, едва дотрагиваясь, так что у того пробежал дразнящий холодок, да отошла в сторону.

Через некоторое время появился кто-то ещё, но кто именно и как он выглядит, Лигнин не мог разглядеть — пришедший был как будто соткан из призрачной, нездешней материи, один силуэт только. Толпа расступилась перед ним, уступая дорогу. Тот окропил стены пещеры чернотой и направился к Андрею Михайловичу.

Говори! Расскажи нам о тьме, что разрушает твоё тело!

Они говорят — единость. Говорят — множество. Говорят — ты, ты сам!

Тут только Лигнин вспомнил свой давний сон, привидевшийся ему накануне начала наводнения, и понял, что сам теперь на месте той лихорадочной, оракула, что корчилась в плотном кольце зрителей, и ему, так же, как ей прежде, кричат: Расскажи нам! Расскажи ещё...

Кричат бесы, захватившие грот.

На безумца напал страх, так что он изо всех сил пытался привести в движение собственные омертвевшие конечности, дабы сбежать, сбежать, пока есть возможность. Но такие попытки привели лишь к новым судорогам, сжимающим мышцы наподобие крепких тисков. Нет, он не боялся умереть: времени в пещере не существует, а где нет времени — нет никакой смерти, и всё шатко балансирует на грани полубытия. Однако Лигнин почувствовал, как нечто внутри него бьётся от радости, наблюдая за творящимися мерзостями, стремится вырваться наружу и присоединиться к бесовскому ликованию. Какая-то часть предала его. Он вдруг отчётливо осознал смысл этих загадочных восклицаний в голове (ты, ты сам!) — оттого родился страх.

Держите его! Держите!

Нечисть завопила хором, холодными лапищами пригвоздила беглеца к каменному полу, осколки впились в спину глубже, прорезав в некоторых местах живую ткань.

Ему больно? Больно?!

Так стонала богиня разврата, отвергнутая Лигниным, отплясывая вокруг койки. Вся её великолепная, гладкая плоть в бархатистых покрывалах кожи медленно, плавно содрогалась от движения. О, ей непременно хотелось, чтобы лихорадочный мучился от боли, она даже впилась ногтями в свои полные красные губы от нетерпения.

Призрачный демон, колдовавший руками над Лигниным, подтвердил её надежды, затем наклонился к обездвиженной жертве совсем близко, и Андрей Михайлович увидел над собой белое лицо, нелепо вырванное из окружающего сумрака, и в нём — два прорезанных отверстия, сквозь которые на мир изливалась непроглядная ночь, а в этой ночи крошечные человеческие фигурки, сплетённые из огня, совершали незатейливый сияющий танец. Приглядевшись, Лигнин с ужасом обнаружил, что фигурки эти вовсе не из огня, а из плоти и крови, и пляшут потому, что горят...

Твой худший враг находится близко. Так близко, что и представить нельзя... [26]

Мы — одно. И ты слышишь, потому что мы слы-

шим, и видишь, потому что мы видим.

Revertatur cinis ad fontem aquarum viventium, et fiat terra fructificans, et germinit arborem vita...

Сказав так, белолицый преследователь начал вдруг распадаться на мельчайшие частицы праха и пепла, и каждая через нос, через саднящее горло проникала внутрь Лигнина, оседая где-то в животе и утоляя боль.

Сохранившейся рукой демон влез настигнутой жертве под левое веко, прикоснулся к влажной поверхности глаза и острым, крючковатым ногтем произвел разрез поперек зрачка, непомерно широкого, потом то же самое проделал с правым глазом. Слепив Лигнина, он обратился струйкой серого дыма, впились в ноздри, пролез в сжатые лёгкие, заставив их снова дышать в полную силу, и там успокоился.

ЭПИЛОГ

С первым снегом, в начале ноября, умер доктор. Похоронили его рядом с увядшей во время лихорадки маленькой девочкой, согласно воле, изъявленной через завещание. Правда, места там совершенно не было, и гроб с запечатанным в нём сухоньким телом пришлось положить в землю боком. Могильщики из прежних похоронных бригад, в августе упразднённых, долгое время не могли решить, насколько приемлемо оставлять усопшего на вечный покой в столь неудобном положении, но в итоге сошлись на том, что воля старика непременно должна быть исполнена.

После исцеления Лигнина случаи заболевания лихорадкой больше не повторялись. Из тех же, кто на момент процедуры изгнания бесов был заражён, многие выздоровели, кроме совсем тяжёлых, то есть таких, которые не могли двигаться. Тяжёлые, как называл их покойный доктор, стали последними жертвами печи в недостроенной фабрике. В конце лета сжигать тела перестали, и зловонный дым больше не стелился над городом.

В поселении кое-как восстановилась торговля, да и скудное снабжение из столицы тоже, потому предстоящий голод вполне можно было пережить без особенных потерь или неудобств. Кое-кто поговаривал, будто власти обещают восстановить добычу угля, потребность в котором растёт с каждым годом — впрочем, одни только слухи...

Ослепший Лигнин, приноровившись малость к трудностям своего нового положения, куда-то уехал, как всегда, никому ничего не сообщив — на сей раз и сообщать-то некому было. Уезжал Андрей Михайлович со спокойным сердцем — ему казалось, что теперь, когда его лишили зрения, он научится наконец не видеть, но чувствовать. Дальнейшая его судьба никому неизвестна.

Отец Тимофей так и обитал в замурованной келье да почти никуда не выходил — радость и воодушевление, случившиеся с ним после исцеления Лигнина, затем незаметно, по капле исчезли, так что ничего в душе не осталось, кроме прежнего сожаления,

раздирающих изнутри противоречий и ещё вины, которая камнем покоилась где-то в области солнечного сплетения — она скреблась порою, причиняя такую боль, что невозможно стерпеть. Местные говорили, по утрам священник до сих пор гоняется за бесами, но, опять же, им не стоит доверять — местные падки на присказки, небылицы, сплетни.

В декабре, второго или третьего числа, Тимофей посетил отец Павел. Павел явился под вечер и застал хозяина посреди двора — тот скрюченным столбом стоял на одной из плит, под которыми покоились отцы-основатели. Пришедший остановился с наружной стороны забора, дабы избавиться от неприятной перспективы как-то приветствовать архимандрита (он с некоторых пор начал брезговать престарелым архимандритом и оказался здесь затем только, чтобы выяснить раз навсегда ответы на интересующие вопросы).

— А ты совсем ослеп, — сказал Павел задумчиво, будто это обстоятельство могло что-то прояснить.

— Да. Впрочем, я ещё немного вижу, но только при свете дня и одни очертания. Цвета давно перестал различать, — священник говорил с хрипотцой, тихо, немощно, и глядел белыми немигающими глазами куда-то вдаль, ничего совершенно там не наблюдая — зрачки его были плотно обтянуты матовой пленкой.

— Ясно. Что же, и бесов больше не видишь?

Тимофей грустно усмехнулся:

— Чем же я их увижу теперь?

— А ты в себя гляди повнимательней, в самое нутро — авось, кто и появится.

— Зачем ты пришёл? Мучить меня своими насмешками? Так я без того высох весь изнутри от боли. Помнишь, ты говорил мне, что необходимо оправдать всякую человеческую жизнь, помнишь? — Тимофей сделал паузу, провёл рукой по морщинистому лбу, желая снять напряжение и избавиться от постоянного стука в висках. — Я не смею оправдать свою жизнь, значит, нет никакого прощения. Что бы я ни делал, той помочь всё равно нельзя, а ведь меня одно только это и волнует. Время убивает меня вдвойне, ибо мало того, что я становлюсь старым, но ещё и событие, которое я хотел бы исправить, период, куда хотел бы вернуться, всё дальше от меня, всё призрачней. А сам ты, что же, оправдал?

— Нет.

— Тогда зачем ты здесь?

— Видишь ли, в июле меня посещал епископ, да упокой Господи его душу. Он был крайне недоброжелательно настроен, словно заранее знал... знал, понимаешь? Уж не ты ли поведал ему о моей маленькой тайне?

— Я, — ответил Тимофей без колебаний, но почему-то обречённо, будто его спросили, подписал ли он себе смертный приговор.

— Иного и предположить нельзя было. По крайней мере смерть архиерея избавила меня от последствий, да только надолго ли? Подумываю с всенародным покаянием выступить, где-нибудь в столице. Как считаешь, простят?

— Не знаю. Я бы не простил.

— Ты себя простить не можешь, куда тебе! Так отчего тебя вина гложет? Не оттого ли, что не существовало никогда никаких рабочих, надругавшихся над Дианой, и ты сам? Дошли до меня слухи (а слухам, знаешь ли, порой верить нужно!), будто ты летом ещё перед бродягами какими-то безвестными колени преклонил да в убийстве покаялся. Правда ли? Может, ты потому тем бродягам и сознался, что нельзя представить ничего более нелепого, ничего более неправдоподобного, чем то, что ты над женщиной надругался да затем жизни лишил — ты, немощный подслеповатый старичок, мучимый видениями да непомерно разросшимся религиозным чувством! Может, ты только разыгрывал из себя безумца? Ведь ты один во всём поселении знал наверняка, что происходит вокруг, разве нет? И мне интересно — так, ради любопытства, — мне интересно, что же ты натворил? Набросился на девуку, пока та лежала без сознания, да? Ну же...

— Я... — начал Тимофей, потом вдруг пресёкся. Схватился за сердце, стал дышать прерывисто, неровно, хватая воздух судорожно, как рыба, попавшая из родной среды на берег. Упал на колени, весь сжался в беззащитный, бесформенный комочек. — Я прикоснулся к ней.

— И только? — Павел рассмеялся, громко и открыто, напоказ выставляя жёлтые зубы и всю раззявленную глотку.

— Только? А разве недостаточно? Разве недостаточно того, что она из-за этого моего поступка сбегала и потому умерла? Разве недостаточно, что я хотел на неё наброситься, хотел вкусить от её голого тела, прикрытого прозрачной тканью, хотел соития с ней, незаконного, грязного и потому до тошноты приятного? Недостаточно того, что, когда я нашёл затем её мёртвой — горе, стыд, невыносимые муки совести смешались во мне с животным вожделением? А это мерзко, когда горе смешивается с вожделением — от себя мерзко...

— Тогда ты впервые вообразил бесов?

— Раньше. Но я ничего не воображал, они сами явились ко мне, во плоти. Лезли изо всех щелей, смеялись надо мной, кусали, топтались по мне копытцами, пока я спал, устраивали сумасбродные пляски и хороводы и заставляли меня присоединяться к ним! Бесы пришли сами по себе, настоящие. Они всегда приходят к тем, кто их ждёт...

Павел поглядел пристально в лицо собеседника и проговорил, делая короткие паузы между каждым словом:

— Да не было никаких бесов, неужели не ясно? Только ты один и был, отец Тимофей. Только ты...

Сказав так, развернулся и пошёл прочь. Тимофей покинул двор вслед за ним, отправился к реке, уже затянутой плотной ледяной коркой. Солнце исчезло за время их разговора, вокруг царил мрак, и только снег почему-то светился, резал слишком чувствительные глаза острой своей, кристальной чистотой, вызывая слёзы.

Старый священник вышел на берег, где некогда

впервые ощутил непреодолимое желание броситься вниз очертя голову, чтобы бездна впитала его в себя, приняла, как сына, успокоила, помогла забыться и даже вовсе ни в каком обличье не существовать, ни в этом, ни в загробном мире. Именно, никогда не существовать... как сладко звучит...

«Только бы небытие, – подумал Тимофей, – только бы ничего там не было». Подчиняясь усталости (подобная усталость накапливается в течение жизни, пока всё тело не превращается однажды в выжатое тряпье, пока вся душа не станет таким же вы-

жатым, бесполезным тряпьем), старик лёг на спину, прямо в снег, и уставился в тяжёлое ночное небо. Чувствовал холод и мягкость, как будто его наконец приняла в свои тесные объятия не то могила, не то постель. Того Тимофею и требовалось – постели да могилы. Так он пролежал до самого утра, пока не замёрз насмерть.

Обнаружившие его жители решили впоследствии, что у священника на прогулке стало плохо с сердцем, он упал да помер, никого не обременяя, а уж после только замёрз.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] ...неопределённые, ничтожные сущности, страданием, бессилием сотворённые – Ф. Ницше, «Так говорил Заратустра»; в оригинале: «Страданием и бессилием созданы все потусторонние миры».

[2] Церковь... устройством нефная – нефный храм на виде сверху представляет из себя прямоугольник с выдвинутым на восток закруглённым выступом, где располагается алтарь. Ныне храмы подобной формы встречаются редко.

[3] ...никаких признаков одержимости, указанных у Левия Матфея, за ним замечено не было (разве что потеря зрения, но этого едва ли достаточно) – так, расскажет иной раз о встрече с бесами или древней богиней Дианой, или Бахусом... – Признаки одержимости указаны не только у Матфея, но также и у остальных евангелистов; к таковым признакам относятся: безумство, эпилепсия, немота, скорченность, слепота (Мрк.5:3; Лк.8:27; Мф.9:32 и др.). Диана – богиня женственности и плодородия в римской мифологии, олицетворение луны. Бахус – бог вина и плодородия в римской мифологии.

[4] ...кричала во всю глотку: «Приди, ну приди же, возьми меня!» – цитата, отсылающая с луденским монахиням, одержимым дьяволом. «Её жесты были настолько неприличными, что аудитория отводила взгляд. Она выкрикивала снова и снова, оскверняя себя руками: “Приди, ну приди же, возьми меня!”» (Роббинс Р. Х. Энциклопедия колдовства и демонологии, 1995 год).

[5] Повернулась набок, начала ударять себя головой по груди и спине, в области лопаток, словно шея была сломана – луденские монахини «ударяли себя по груди и спине головами, как будто у них были сломаны шеи» (там же).

[6] Спросила: «Буду ли я твоей госпожой?», затем, получив, вероятно, никем не услышанный ответ, добавила со странной мечтательностью: «Ах, там звучит музыка, там танцуют, пьют вино, там вечный пир!» – в монастырском приюте в Лилле (Франция) в 1658 году несколько послушниц детского и молодого возраста заявили, что имели плотские сноше-

ния с дьяволом. В частности, двухлетняя девочка рассказывала, как «к ней явился возлюбленный на маленькой лошади, взял её за руку и спросил, будет ли она его госпожой. И только она сказала “Да”, как была поднята в воздух с ним и другими девушками, и все они вместе полетели в большой замок, где играли на инструментах, танцевали, пировали и пили вино» (там же).

[7] Древо узнаётся по плодам – Евангелие от Луки, 6:44; «ибо всякое дерево познаётся по плоду своему...»

[8] Один вопрос более всех интересует меня: что общего у света с тьмой? – Второе послание к Коринфянам, 6:14.

[9] Сегодня день поминовения преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской – день памяти 12 июня; преподобный Исаакий исповедник – святой, IV век, совершал монашеский подвиг в пустыне.

[10] Он предполагал оказаться в поселении к началу третьего часа службы – третий час богослужения соответствует 9 часам утра, в это время воспоминается сошествие Святого Духа на апостолов.

[11] Я возомнил себя Давидом, в отчаянии, а порою в безумии своём воспевал псалмы Господу, мысленно или во все горло крича: «Да обратятся нечестивые в ад!» - Псалтирь, 9:18. «Восстань, Господи! – восклицал я в немом исступлении, в забытии, - да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим!» – Псалтирь, 9:20. «Призри, услышь меня, Господи Боже мой! Просвети очи мои...» – Псалтирь, 12:4. «...доколе будешь скрывать лице Твоё от меня?» – Псалтирь, 12:2.

[12] Скажите мне, отец Тимофей, познав Бога, для чего вам опять возвращаться к немощным и бедным вещественным началам? Для чего поработать себя ими, ударяться в «пустые мудрствования»? – Послание к Галатам, 4:9; «...познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите ещё снова поработить себя ими?»

[13] Я из тех, кто всегда учатся и никогда не могут прийти до познания истины — Второе послание к Тимофею, 3:7.

[14] Что, если церковь наша и есть те, кто в Судный день приступят к Спасителю со словами: «Господи, не от Твоего ли имени пророчествовали?» и кому Он ответит, как предрекал: «Не знаю вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие!» Не делаем ли мы беззакония? — Евангелие от Матфея, 7:22,23; «Многие скажут Мне в тот день: “Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?” И тогда объявлю им: “Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”».

[15] ...в любом случае, отец Тимофей, наша неправда открывает правду Божью — Послание к Римлянам, 3:5; «Если же наша неправда открывает правду Божью, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъясляет гнев?»

[16] Я обладаю всей полнотой власти над богатым и бедным, над молодым и старым, над мужчиной и женщиной, над сытым и голодным! Знаю все ваши хитрости, и вы должны благодарить за это Господа! — адресует к отрывку письма одного из преследователей ведьм, вознесённого репрессиями на самый верх социальной иерархии; в оригинале: «Я обладаю всей полнотой власти над богатым и бедным, над молодым и старым, над мужчиной и женщиной, мальчиком и девочкой, слугой и служанкой, горожанином и крестьянином, рыцарем и дворянином, врачом и лицензиатом, мастером и бакалавром. Я знаю все их хитрости, и ты должна благодарить Господа за это» (Роббинс Р. Х. Энциклопедия колдовства и демонологии, 1995 год).

[17] Берегитесь же, чтобы не прельстили вас, чтобы не усомнились вы и не стали служить иным богам! — Откровение Петра, 1:2.

[18] ...так разве приближает нас пища к Богу? Нет, братья, пища не приближает нас, ибо, едим ли, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем... — Первое Послание к Коринфянам, 8:8.

[19] ...для Бога ничто не умирает, и ничто не бывает невозможно для Него, и всё принадлежит Ему! — Откровение Петра, 4:4.

[20] ...в последнее время объявилось бесчисленное множество лжепророков, и множество ересей возродилось посредством деяний их — Дидахе, 16:3; «Ибо в последние дни умножатся лжепророки и губители...»

[21] Это те, которые подают милостыню и говорят: «мы праведны» — сами же праведности не имеют — Откровение Петра, 12:3.

[22] Желаящие же обогащаться впадают в искушение и во многие безрассудные и вредные похоти, ибо сребролюбие есть корень всех зол, и предавшись ему, люди сами себя подвергают многим скорбям — Первое послание к Тимофею, 6:9,10.

[23] И не будет страданий, не будет скорби, не будет стенаний, злопамятства, слёз, зависти, ненависти к братьям! <...> И тогда наступят светлые времена и станет одно стадо и один Пастырь! — Откровение Иоанна Богослова (апокрифическое), глава XXVII.

[24] Красота из пепла. Красота вместо пепла, елей радостей вместо надрывного плача, а что же, что же вместо унылого духа? К слову, ни о какой красоте у пророка, кажется, не упоминалось, а заявлены были лишь украшения. Украшения вместо пепла — совсем не то — Книга пророка Исайи, 61:3; «возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радостей, вместо унылого духа — славная одежда...»

[25] Одиннадцатого июля, в день Троеручицы и накануне Великого праздника славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла... — Троеручица — чудотворная икона Божьей Матери; 11 июля происходит празднование в честь иконы. Великий праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла происходит 12 июля.

[26] Твой худший враг находится близко — К. Г. Юнг, «Борьба с тенью», «Без сомнения, лучше знать, что ваш худший враг находится близко, прямо в вашем сердце».